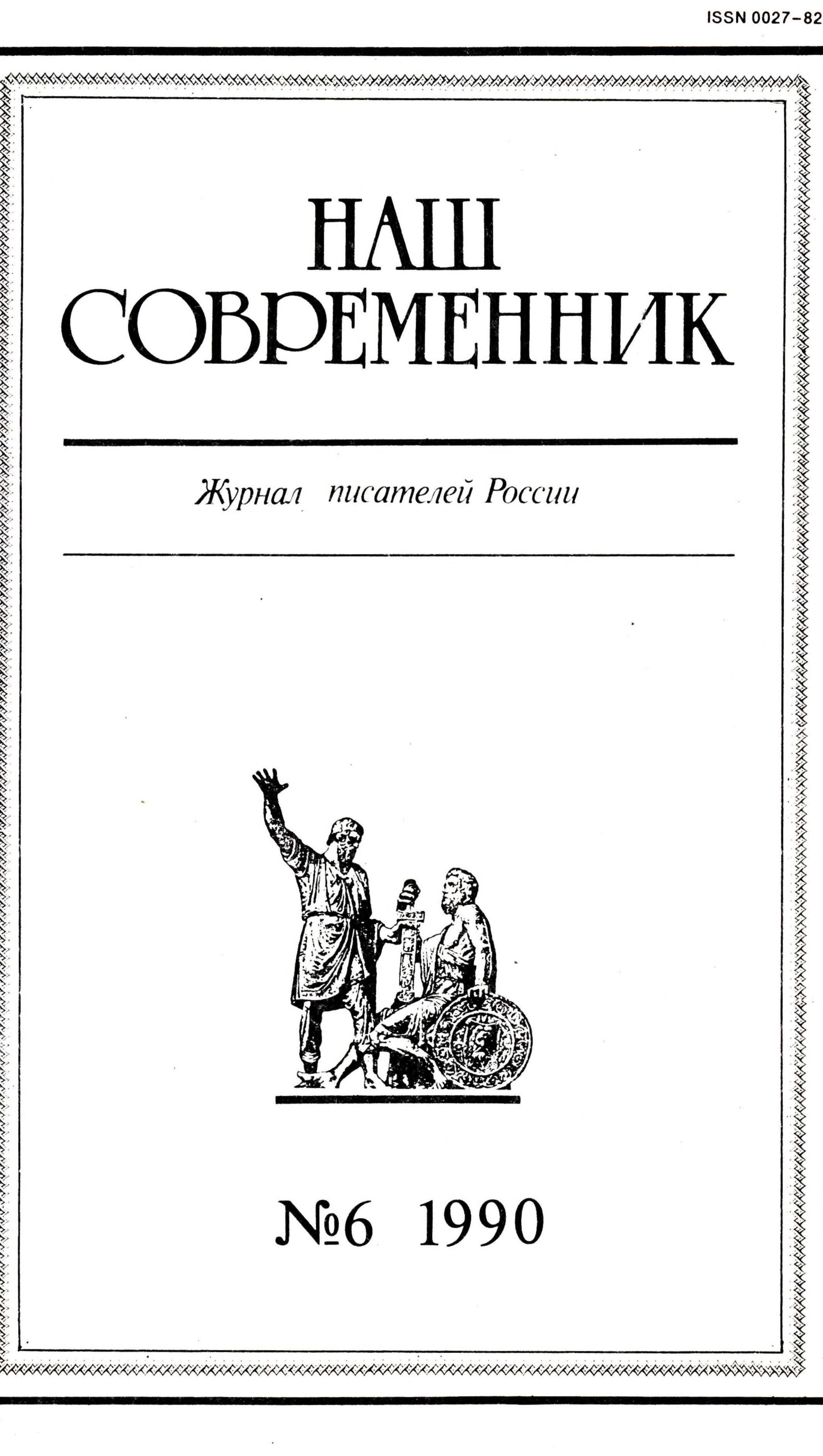
ISSN 0027-8238



ГОВОРИТ РОССИЯ

Публикация "Письма писателей России и деятелей культуры" в нескольких патриотических изданиях ("Литературная Россия", "Московский литератор", "Наш современник", "Молодая гвардия", "Москва") стала значительным событием в общественной жизни страны. После появления "Письма" сотни людей – деятелей культуры и науки, инженеров, рабочих, врачей, учителей, студентов, военнослужащих – поставили свои подписи под этим документом. В редакцию журнала ежедневно приходят десятки коллективных откликов в поддержку позиции писателей-патриотов.

Вот несколько выдержек из этих откликов:

"Всецело поддерживаем "Письмо писателей России". Считаем, что первый Съезд народных депутатов РСФСР должен разработать и принять законодательные акты, предусматривающие строжайшую ответственность как отдельных лиц, так и организаций, учреждений за любые факты дискриминационного характера по отношению к российским народам.

Сотрудники редакции газеты "Сельская жизнь" Е. ПРОШИН, М. ГЛИНКА, всего 15 подписей".

"Студенты Пермского педагогического института выражают свою поддержку "Письму писателей России" и ставят под ним свои подписи: А. ЦЫГАНКОВА, С. МЕНЗАРИПОВА, всего 58 подписей".

"Мы, группа военнослужащих, горячо поддерживаем позицию авторов письма. Нам, воинам армии и флота, далеко не безразлично то мнение об армии, которое формируют средства массовой информации, возглавляемые "прорабами перестройки".

От имени коллектива военнослужащих – Владимир ТИХИЙ".

"Простой люд беспардонно обманут. Когда прозреет – будет поздно. Следует бить тревогу в Москве, расшевелить московских рабочих. Неужели они ждут "лучшей доли" от таких "народных деятелей", как Попов и Станкевич? Прямая дорога, которой поведут они москвичей, – в капиталистическую кабалу. Мафия берет верх, и это не может не тревожить всех простых честных людей.

Д. КАБАНОВ".

"На мой взгляд, дело зашло уж очень далеко – все труднее и труднее становится убеждать окружающих русских людей в том, что они – полноценная нация. И особенно это относится к молодежи.

В. МАЛЬЦЕВ".

"Полностью разделяю все положения "Письма писателей".

Два слова о себе: я сын армянина и русской. С детства питаю глубокую любовь и уважение ко всему русскому – культуре, обычаям, литературе, истории.

С искренним уважением – С. ЕПИСКОПОСОВ".

"Целиком солидарен с "Письмом", поддерживаю его, подписываюсь под ним.

Ю. ДЕМЕНТЬЕВ, док. ист. наук, ведущий научный сотрудник ИВ АН СССР".

"Одобряем и полностью поддерживаем содержание "Письма". Считали бы необходимым дополнить его тем, что мы осуждаем принятое Съездом народных депутатов СССР по докладу А. Н. Яковлева решение о так называемых "секретных приложениях" к советско-германскому договору о ненападении. Как можно было принимать постановление о несуществующих документах?!

ЦАПКОВ, ХАБУНАЯ, всего 7 подписей".

"С удовольствием ставлю свою подпись под "Письмом". Надо идти в наступление, пора "играть белыми". Раз средства массовой информации не у патриотов, необходимо искать другие способы сказать людям правду. Я думаю – это и митинги, и демонстрации, и концерты, и конкурсы с патриотической направленностью.

С. КОЗЬМИНЫХ".

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

№6 1990



ИПО
«ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГАЗЕТА»
МОСКВА

Содержание

Технический редактор Л. Л. Ежова. Корректоры З. С. Гуляевская, М. И. Кононова.

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-23-88 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 12.03.90. Подписано к печати 24.05.90. А-10301
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2 Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 19,57. Тираж 490 579 Заказ 1270.
Цена 80 коп.

ИПО «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда»,
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



СВЕЧА

* * *

По небу полуночи ангел летел...
М. Лермонтов.

Скатилась звезда, затухая,
И вздрогнули тени рябин.
Темна моя полночь глухая,
И я засыпаю один.

Душа моя залита кровью.
Побудь хоть немного со мной.
О встань и сияй в изголовье,
Чтоб светлым был сон мой земной.

Вера

Опять бурлит страна моя,
Опять внутри народа битвы.
И к старцу обратился я;
Он в тишине творил молитвы.

И вопросил у старца я,
Что в тишине творил молитвы:
— Зачем бурлит страна моя?
Зачем внутри народа битвы?

Кто сеет нас сквозь решето?
И тот и этот к власти рвется...
— Молись! — ответил он.— Никто
Из власть имущих не спасется.

* * *

Хор церковный на сцене стоит, как фантом,
И акафист поет среди срама.
Камень веры разбился в песок, и на нем
Не воздвигнешь ты нового храма.

Ни царя в голове, ни царя вообще.
Покосилась луна у сарая.
День грядущий бредет в заграничном плаще,
Им свою наготу прикрывая.

Что же ты не рыдаешь, не плачешь навзрыд?
Твою родину мрак обступает.
А она, как свеча перед Богом, горит...
Буря мрака ее задувает.

В Карпатах

Когда я на воду глядел,
Когда на меня ты глядела,
То я от воды голубел,
А ты от меня голубела.

Хотела меня испытать
И кинуться с выступа в воду.
Успел я за крылья поймать
Твою молодую свободу.

Ты молча сражалась в руках,
Но слухом при этом хватала,
Как страстно и резко в горах
Гуцульская скрипка стонала.

* * *

Что я слыхал, чему внимал?
Мне даже истина лгала.
Мой одинокий ум дремал
У края праздного стола.

Слыхал я эту болтовню:
«Ин вино веритас...» Не то.
На дно стакана загляну:
Все ложь, все бездна, все ничто.

Жена-сомнамбула

На балконе стоит полыханье.
Это значит: мы спим при луне.
У жены изменилось дыханье,
Вот сейчас она встанет во сне.

Столько лет запираю все двери,
А особенно ту, на балкон.
Столько лет отпирает все двери,
А особенно ту, на балкон.

Столько лет она молча выходит
На крутой и высокий карниз
И руками над пропастью водит.
Не могу даже крикнуть:—Проснись!

Что ей снится? Незримая битва
В недоступной для слез вышине?
Что ей слышно? Какая молитва
Шевелит ее губы во сне?

Лунный свет вымывает ей душу,
И она словно где-то парит.
Днем за плечи трясу, будто грушу:
— Это я! — Это ты,— говорит.



ВЛАДИМИР СОЛОУХИН



КАМЕШКИ НА ЛАДОНИ

* * *

Яшин рассказал мне, как он ходил к Фадееву просить, чтобы дали Сталинскую премию Пришвину. Это ведь один из лучших русских писателей, заметим кстати.

— Неужели он хочет? — рассмеялся Фадеев.

— Хочет. Все мы — человеки...

Тогда, уже серьезно, Фадеев сказал Яшину:

— Ты ничего не понимаешь в литературной политике.

Итак, значит — литературная политика. При помощи Сталинских премий литература направлялась в желательное государству русло. Не были бы премированы «колхозные» поэмы Грибачева, возможно, не написал бы Бабаевский «Кавалера Золотой Звезды», без «Кавалера Золотой Звезды», возможно, не написал бы своего романа Е. Мальцев (или наоборот), а также и Яшин свою «Алену Фомину»...

Если бы государство заботилось о «лучшей» литературе, почему бы не дать премию Пришвину, Паустовскому, Мартынову, Зощенко, Ахматовой, Пастернаку, в конце концов. Но поощрять лучшее, с точки зрения государства, бессмысленно. Ведь лучше, чем могут, другие писатели все равно не напишут. А вот поощрять пусть и среднее, серое, но желательное — в этом большой смысл. Таким образом литература направляется в желаемое государству русло.

* * *

Девочка в начальной школе плохо усваивает арифметику. Двойки и двойки. Учительница вызвала родителей. Родители были в отъезде, в школу вместо них пришла бабушка. Учительница ей выговаривает: девочка, мол, плохо учится по арифметике, надо повлиять, подтянуть.

— А как она вообще, поведением? — спрашивает бабушка.

— В том-то и дело, что она поведением примерная девочка, вот только арифметика...

— Ну так вот, — заключила бабушка, как отрезала. — Я ее воспитала. Это была моя забота. Арифметике же должны научить вы, школа. При чем здесь родители? На то вы и школа, чтобы научить ее арифметике.

Вообще-то этот эпизод мне рассказали в Югославии. Но теперь, записывая его, я подумал: не имеет ведь значения, где это произошло. Однако кажется мне почему-то, что у нас такой эпизод представить себе труднее, чем где-нибудь «там». Не знаю уж почему, но не нашлось бы такой бабушки. Ну не нашлось бы, и все тут, не знаю уж почему. Мозги, что ли, по-другому устроены?

* * *

Покупатель спрашивает у продавщицы:

— Какой лосьон лучше взять? Я плохо в них разбираюсь.

Продавщица буднично так, просто так отвечает:

— Если пить, то лучше вот этот.

* * *

Перед поездкой в Германию (а я не говорю по-немецки) решил вооружиться русско-немецким разговорником. Должны же, думаю, быть такие разговорники. Откроешь нужную страничку, найдешь нужную тебе фразу, а рядом — она же, эта фраза, но уже по-немецки. Очень удобно. «Как пройти к ближайшему ресторану?». «К стоянке такси?». «К ближайшей кирхе?». «Я предпочитаю баварское пиво». «Спасибо. Вы очень любезны»... Достать разговорник оказалось делом нелегким. Один мой знакомый достал его мне в библиотеке МИДа и вручил в последний момент. И вот с вожделением раскрываю его на улицах Кёльна. «В какой профсоюзной организации вы состоите?». «Как вы боретесь за свои права?». «Участвуете ли вы в забастовках?». «Какие налоги вы платите?»...

* * *

Ленинградский писатель и литературовед Владимир Николаевич Орлов мне рассказал, как он записывался впервые к литфондовскому врачу. Она стала подробно заполнять историю болезни на будущего пациента, а точнее сказать, личную карточку. Фамилия, имя, возраст, чем болели... и вдруг спрашивает:

— А как у вас отношения с алкоголем?

— Да вы знаете, я люблю перед обедом выпить рюмку-другую. Не много, конечно, но рюмку-другую. Для аппетита, знаете. Опять же — закуска располагает... Квашеная капустка, селедочка...

— И как часто?

— Да вот я и говорю, перед обедом рюмку-другую...

Однажды во время другого уже посещения врача (и, может быть, даже много лет спустя) получилось так, что врач вышла на несколько минут, а история болезни лежит на столе. Владимира Николаевича разобрало любопытство, что же написала врач в истории болезни в ответ на его откровения о рюмке перед обедом? Он воровато заглянул в тетрадь и увидел в нужной графе: «Бытовой алкоголизм».

* * *

— Вы писали в своей жизни и стихи и прозу. Какая разница?

— Разница очень большая. Прозу я писал сам, а стихи — как мне всегда казалось — под чью-то диктовку.

* * *

Конечно, это не больше чем придирка. Но как же было не придраться? Известен из мемуарной литературы эпизод, как Анна Ахматова с подругой (Надеждой Яковлевной Мандельштам) ходила по Третьяковской галерее.

— А теперь,— сказала Анна Андреевна,— пойдем смотреть, как меня повезут на казнь.— И она подвела подругу к «Боярыне Морозовой». Там же, в воспоминаниях Н. Я., приведены стихи Анны Ахматовой, навеянные, видимо, этим эпизодом:

А после на дрогах в сумерки
В навозном снегу тонуть...
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?

Все тут хорошо и уместно. Можно сказать, яркий литературный эпизод. Только вот почему — дроги? Родившись и проживя всю жизнь в России, в те годы, когда лошадь со всеми сопутствующими обстоятельствами была еще в быту: тарантасы, извозчики, рысаки, коляски, санки, сани, розвальни, телеги, кибитки, дроги и дрожки (а тем более что снег под полозьями написан Суриковым так ярко), как можно было вставить в стихи летние дроги? Сама же ведь А. А. пишет, что «в навозном снегу тонуть».

Конечно, придирка. Но ведь это все равно, как если бы кто-нибудь из современных поэтесс перепутал лимузин с самосвалом.

Ну вот, написал я этот «камешек»-придирку, что называется, уел знаменитую поэтессу, а на душе неспокойно. Да не может этого быть, чтобы Анна Андреевна не знала, что такое дроги. Не искажена ли цитата? Если не автором мемуаров (что вполне вероятно), то в издательстве, в типографии. Ведь книга печаталась за рубежом, а что им там наши дроги? Перелистал двухтомное издание Ахматовой, нашел нужное стихотворение. Ну конечно же!.. Выписал замечательное стихотворение целиком:

. . . .

Я знаю, с места не сдвинуться
От тяжести Виевых век.
О, если бы вдруг откинуться
В какой-то семнадцатый век.

С душистою веткой березовой
Под Троицу в церкви стоять,
С боярынею Морозовой
Сладимый медок попивать,

А после на *дровнях* в сумерки
В навозном снегу тонуть...
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?

* * *

Иногда у поэтов, ну, прямо скажем, не ставших большими, крупными поэтами, даже иногда не в Москве-Ленинграде, а в каком-нибудь городке зарождаются поэтические жемчужины, своего рода шедеврики, яркие и чистые цветы поэзии. Ну пусть не букет, но часто один цветок смотрится лучше, чем целый сноп. Такие две жемчужины нашлись у двух поэтов в Вязниках — городе нашей Владимирской области, вблизи, между прочим, знаменитой Мстеры.

Первое стихотворение принадлежит тихому, незаметному, безвременно ушедшему вязниковскому поэту Юрию Мошкову.

ЛУКОШКО

Нам было вместе двадцать семь,
Судьба — судачили соседи,
А мы не думали совсем
Разгадывать намеки эти.

А мы ходили в лес густой,
Одетый в рыжий мех подпалин,
И набродившись, под ольхой,
Раскинув руки, засыпали.

И возле нас, касаясь плеч,
Лукошко с днищем деревянным
В траве лежало, словно меч
Между Изольдой и Тристаном.

Кто скажет, что это не очаровательное стихотворение, достойное даже и антологии, если не хрестоматии?

Второе стихотворение написал и ныне здравствующий вязниковский поэт Борис Симонов.

МОНА ЛИЗА

Я любил. Было счастье мне в жизни обещано,
Я сгорал от любви, от шального огня.
Мона Лиза, святая, чистейшая женщина,
Улыбаясь глядела с холста на меня.

Я обманут был. Горечь в душе, в жизни — трещина.
Я метался в тоске, все на свете кляня.
Мона Лиза, коварная, хитрая женщина,
Улыбаясь глядела с холста на меня.

В первой строчке этой заметочки я сказал про поэтов, что они, прямо скажем, не стали большими, крупными. Но по чему: по количеству написанного, по критическому шуму вокруг имени, а не по высшей отметке поэтического всплеска должна мериться высота поэзии? Повторим где-то уже сказанное, что во многих отношениях есть разница между граммом золота и тонной золота. Но золотая крупица обладает всеми теми же свойствами благородного металла, что и глыба.

* * *

Сейчас такие танцы, как рок, твист, не говоря уж о румбе, называют «современными бальными» танцами. Но если те сборища молодежи (а хотя бы и дискотеки) называть балами, то что же называть «ша́башем»?

* * *

В Болгарии то и дело можно увидеть магазинную вывеску «Хранителни стоки». Буквально это означает консервы, продукты, которые могут долго храниться.

Я и раньше замечал, что в родственных русскому языках иногда слова (многие слова) звучат более первозданно, чем на русском. «Кръстословица» вместо «кроссворд»; если болгарин скажет «идите направо», это значит надо идти прямо (наше дело правое, то есть правильное, прямое), а «направо» по-болгарски будет «дясно», от десницы, и т. д. и т. д. Да я уж об этом где-то писал.

И вот теперь оказывается, вместо нашего, заимствованного «консервировать», «консервы» у болгар «хранить», «хранителни стоки». Но ведь это означает, что слово «консерватор» не более чем хранитель, охранитель, сохранитель и вовсе не должно нести того отрицательного оттенка, который мы ему придаем.

* * *

В 1945 году я, служа сержантом в Кремлевском полку, начал ходить на литературное объединение при «Комсомольской правде». Мы собирались по средам в «Зеленом зале», по вечерам. Руководил этим объединением Владимир Александрович Луговской. Мы все были очень молоды, мне, в частности, был 21 год. Луговской был среди нас седовласым старцем, маэстро. Крупный, с крупным выразительным лицом, с могучим басом, действительно седовласый, с какой-то тяжелой тростью, а вернее — клюкой, это был для нас не просто маэстро, но патриарх. И вот он начал волочиться за одной молоденькой (17—18 лет) участницей нашего кружка, пишущей, естественно, стихи. И, кажется, ухаживал он не безуспешно. Мы все дивились. Как это возможно, чтобы такой старец и такая девочка. Ну он-то ладно, у него свой «старческий» интерес, но она-то, она как могла с таким стариком!..

Недавно я, вспоминая те годы, решил сопоставить даты, и что же оказалось: Луговскому тогда было 44 года!

* * *

Я курил с шестнадцатилетнего до двадцатидевятилетнего возраста. Курил много, жадно и с удовольствием. Курил дешевые папиросы, курил махорку, самосад, трубку, курил «Беломор» и «Казбек». Но бросил курить очень легко. Решил и бросил. Это вопрос не силы воли. Такой силы воли у меня вовсе нет. Есть дурные привычки (например, рюмка перед обедом), от которых мне избавиться не удается. Почему же я так легко бросил курить? Потому, очевидно, что не курил никто из моих родителей и предков: ни отец, ни дед, ни прадед. Табачная зараза не перешла ко мне через наследственность, через гены. Я был курильщиком в первом поколении.

* * *

Читал какой-то переводной детектив, в котором двое террористов убивают человека из пистолетов с глушителями. «Раздались звуки, похожие на те, когда открывают шампанское». Профессиональное чувство реалистичности сразу подсказало мне, что тут что-то не так. Не мог писатель, даже если он просто бездарный сочинитель полицейских романов, написать такую ерунду. Не похожи выстрелы из пистолета с глушителем на звуки открываемого шампанского. Решил докопаться и проверить. Оказалось в оригинале, что звуки от выстрелов были похожи на щелчки, возникающие при открывании банок с пивом. Да, это очень точно. Получаются при открывании банок с пивом такие глухие щелчки. Почему же переводчик исказил это место, причем ухудшив его? Потому что перевод предназначался для нашего широкого читателя, а кто же у нас держал в руках банку с пивом, а тем более открывал ее? Ну а как стреляет пробка от шампанского, слышали все.

* * *

Про Россию всегда говорили в наши советские десятилетия, что она была страной отсталой. Согласимся, хотя это спорно. Но что бесспорно и очевидно всему миру, что сейчас наше государство по всем основным направлениям развития техники, экономики, науки, торговли, сферы обслуживания, земледелия отстает от высокоразвитых стран самое малое на 50—70 лет.

Дороги. Сравним наши дороги с дорогами Германии, Англии, Франции, Италии, США, Японии, любой развитой страны, и прикинем, через сколько десятилетий у нас будет такая же и такого же качества сеть автомобильных дорог? Сами автомобили, автомобилестроение. Тут и без комментариев видно, что мы живем, с точки зрения автомобиле-

строения, в «каменном веке». Модель легковой машины (скажем, «Волги») у нас меняется один раз в 10—15 лет, в то время как «там» автопромышленность ежегодно «выстреливает» десятки новых моделей. Да и какая это модель, наша «Волга», разве она отвечает уровню современного автомобилестроения? Как ее сравнивать со всеми этими «мерседесами», «вольво», «тойотами», «датцунами», «ситроенами», «пежо», «рено», «оппелями», «БМВ», «фордами», «мустангами», «ягуарами», «шевроле» и десятками, сотнями других моделей? Прикинем, сколько лет понадобится нашей автомобильной промышленности догнать высокоразвитые страны.

Железные дороги и поезда. Изношенные и устаревшие железнодорожные пути, тихоходные, вечно опаздывающие поезда, постоянные очереди за билетами, толчея при посадках, обслуживание, дискомфорт, огромное скопление долго сидящих (и сидя спящих) пассажиров на вокзалах, дикие очереди на привокзальных стоянках такси — все это трудно вообразить немцу или французу, как нашим людям трудно вообразить состояние железных дорог, вокзалов и обслуживание пассажиров в тех странах.

Взять ли медицинское оборудование, медикаменты, обувь, одежду, шариковые ручки и сельскохозяйственные машины, сантехнику и электротехнику во всем ее разнообразии, бритвенные лезвия и трубопрокатное дело, металлообрабатывающие станки и пишущие машинки... Земледелие и торговля... одним словом, что ни возьмем, везде увидим, что отстаем на 50—70 лет (в лучшем случае).

Но при всем том никогда не отставала и не отстает наша поэзия. В самом деле, в предреволюционные годы расцветал Блок, начинался Маяковский, состоялся Гумилев, гремел Северянин, мудрил Хлебников (а вокруг еще Брюсов, Бальмонт, Гиппиус), кого же мы противопоставим им в мировой поэзии тех лет? Никого. Чуть позже: Ахматова, Цветаева, Сергей Есенин, Клюев, Мандельштам, Пастернак, Тихонов (ранний), Заболоцкий, Твардовский. Кого мы поставим в мировой поэзии рядом с ними? Никого.

Да и даже нашим вот современным поэтам (хотя бы этой руганой-переруганой, хваленой-перехваленой четверке — Вознесенский, Ахмадулина, Евтушенко, Окуджава,— а по другим направлениям ведь еще Василий Федоров, Николай Рубцов, Ярослав Смеляков, Семен Кирсанов, Илья Сельвинский, Дмитрий Кедрин, Роберт Рождественский...) в мировой поэзии им (присоедините сами еще многие имена) противопоставить кого?

Оглянемся ищущими взглядами по белому свету: далеко ушли от нас во всех отношениях высокоразвитые страны, а поэзии нет совсем. Пустыня.

Слабое для нас утешение, но все же...

* * *

Бытует версия (особенно она расцвела в середине тридцатых годов, к столетию со дня смерти Пушкина), что Дантес, выходя на дуэль, надел на себя под одежду тонкий стальной панцирь, изготовленный будто бы для него в Великом Устюге. Эту версию горячо поддерживал уже в наши студенческие времена Константин Георгиевич Паустовский. Он опирался на косвенные доказательства. Первоначально дуэль была отложена. Эта оттяжка понадобилась, чтобы заказать панцирь. По документам, кто-то из голландского посольства (а старший Геккерен, как помним, был голландским посланником) ездил в те дни в Архангельск. Зачем ездил? Заказывать панцирь. Наконец, пуля ответного выстрела Пушкина попала Дантесу в область сердца, пробила руку и прошла рикошетом, считается, что от пуговицы мундира. Удар, однако, был так силен, что Дантес упал. Легче предположить, что рикошет не от пуговицы, а от панциря. Но как бы там ни было, все эти разгово-

ры могут касаться только нравственной чистоплотности Дантеса, а не судьбы Пушкина. Будь на Дантесе хоть десять панцирей, ничего для Пушкина, а следовательно, и для нас с вами не изменилось бы.

Обстоятельства дуэли известны до последнего жеста. Расстояние между барьерами было десять шагов. Противники встали в четырех шагах каждый от своего барьера. Значит, к началу поединка они находились в восемнадцати шагах друг от друга. Потом они начали сходиться. Если бы кто-нибудь из них не захотел подходить к барьеру, он мог бы не подходить, а стрелять со своего места. Стрелять, не доходя до барьера, правила позволяли. Нельзя было переходить за барьер.

Пушкин был одним из лучших стрелков в России и опытным бойцом. Он избрал правильную тактику. Он быстро подошел к барьеру, преодолев четыре шага, и прицелился в Дантеса, идущего к барьеру медленно. Нет никаких сомнений, что, как только Дантес ступил бы на черту барьера, его ждал бы меткий и, конечно, смертельный выстрел Пушкина. Но Дантес выстрелил, сделав только два шага. Неизвестно, на какую долю секунды он опередил выстрелом Пушкина. Возможно, на сотую долю секунды, важно, что опередил. Рана оказалась смертельной. Даже если бы потом своим выстрелом Пушкин убил Дантеса, для него самого это уже не имело бы никакого значения. Рана от этого не стала бы менее тяжелой. Все дело в том, что Дантес на долю секунды опередил Пушкина.

* * *

Как не вспомнить гениальное изречение Гюго из его романа о французской революции: «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого гражданина».

* * *

Вот уже почти восемьдесят лет нас отучают любить свою историю, свою культуру, свой народ. Сначала это называлось шовинизмом, потом (поскольку русский народ становится малочисленным и поскольку другие малые народы тоже нужно ведь отучать любить свою историю, свою культуру, свой народ) стало это называться просто национализмом, без подразделения на шовинизм и национализм, и противопоставляется эта любовь к своей истории, к своей культуре, к своему народу, к своей земле — интернационализму. Как только человек заявит во всеуслышание: «я — русский», «я — украинец», «я — армянин» и тем, мол, горжусь, так сразу — ярлык. Националист. Еще заявить, что русский (грузин, белорус), куда ни шло, но уж этим гордиться... Чистый национализм. А мы ведь все кто? Не русские, не грузины, не украинцы, мы — интернационалисты. Мы должны любить эфиопов, камбоджийцев, кубинцев, кого угодно, только не свой народ, не самих себя. А может, и правда любить самих себя неприлично? И вообще, что это за чувство — любовь к своей родине, патриотизм? Врожденное оно или благоприобретенное, воспитанное? Ведь если благоприобретенное, то можно от него отучить, можно людей перевоспитать, и будут они все интернационалисты.

Но разве чувство любви к другим людям (народам) и любви к родному должны исключать, разве они в действительности исключают друг друга?

Берем два примера. Идет мужчина по улице, и вдруг — пожар. Кричат, бегут, мечутся. Между прочим, кричат, что в горящем доме остался ребенок. Мужчина (если он мужчина), а иная и женщина («коня на скаку остановит, в горящую избу войдет»), бросается в огонь и ребенка спасает. Разве думает спаситель в это время, какой национальности этот ребенок? Неужели он скажет так: «А, турчонок горит, ну пусть горит. Полезу я в огонь из-за какого-то турчонка...» Предположить такое рассуждение применительно к человеку невозможно. Вот сказавший так

был бы действительно националистом и шовинистом. Он был бы и хуже того, если бы подбросил в огонь еще пару турчат. Нет, человек в душе своей интернационален. Но в такой же степени ему свойствен и национальный эгоизм. Переходим ко второму примеру. Идет мужчина по улице, вдруг кричат: «Задавили, ребеночка задавили!». Мужчина бежит к месту происшествия, смотрит. Действительно — задавили. Сбежавшиеся зрители поохали, поахали, кое-кто и всплакнет, но потом все пойдут по своим делам. И мужчина наш тоже. Дома расскажет про страшный случай на улице. Но если он подбежал к месту происшествия и увидел, что задавили не кого-нибудь, а его сынишку (или внучонка), будет разница? То-то вот и оно... И неужели не должно быть никакой разницы? Разве это было бы не противоестественно?

* * *

Теория самозарождения жизни в виде молекулы белка и живой клетки, а потом развития из этой клетки всех тигров и пальм, китов и жужелиц, пингвинов и ромашек, сирени и васильков, соболя и медведя, форели и журавля, и т. д. и т. д., и т. п. и т. п., то есть теория эволюции, при всей ее простоте объяснения феномена жизни и при всей ее заманчивости, все же начисто исключает наличие в жизни разумного начала. Все — само собой. Случайное соединение химических элементов, атомов, постоянное усовершенствование путем естественного отбора...

Но вот я читаю в нашей советской газете. Статья под названием «Путешествие по ушной раковине», рубрика: «Служба здоровья». Написано: «Три десятилетия назад на конгрессе в Марселе французский ученый П. Ножье выступил с сенсационным заявлением: в ушной раковине спроецирован эмбрион человека. Пользуясь старинными китайскими источниками, он разработал топографические карты уха, на которых выявил ряд рефлекторных зон...»

По-русски говоря, это означает, что каждому внутреннему органу в человеке соответствует определенная точка в ушной раковине. Но это ведь равноценно тому, что к сложному аппарату, скажем к радиоприемнику, приложена схема. Так это что — природа тоже сделала сослепу и на ощупь? А главное, зачем, исходя из какой эволюционной целесообразности?

* * *

Его клеймят на партийном собрании, ставя вопрос об исключении: «идейный перерожденец». А он скромно отвечает: «В том-то и беда, что я не сумел переродиться, а остался по-прежнему просто русским человеком».

* * *

В день сорокалетия Победы я сначала побывал у Саши Косицына. 9 мая у него, Героя Советского Союза за форсирование Дуная (он был тогда двадцатилетним пулеметчиком), день открытых дверей и целый день широкое застолье. А тут — не рядовой день Победы, а сорокалетие. Одним словом, хорошо мы отметили этот день. И вдруг Саша спохватился: «Мне же надо в Дом литераторов, там же собрались писатели — ветераны войны. Поедем со мной».

— Но я же не ветеран. Я служил всего лишь в Кремлевском полку.

— Все равно. Поедем, поедем.

Там шумное, человек на сто застолье подходило уже к концу, но тосты все еще произносились. За Матвея Крючкина — тост, за Володю Карпеку — тост. У меня, хмельного, возникло чувство протеста. Я с полным бокалом в руке подошел к микрофону.

— Что же вы, фронтовики, все за Крючкина да за Крючкина. А Главнокомандующий у вас был? Представьте французов, которые

отмечали бы взятие Москвы и не упоминали бы своего Наполеона. Я предлагаю выпить за Главнокомандующего, за Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина.

Половина присутствующих выразила восторг, половина оказалась в растерянности.

Вскоре на переделкинской дорожке встретился мне Елизар Мальцев.

— Говорят, ты тост за Сталина произнес. Да тебе после этого руки нельзя подавать.

— Вот как. Когда мы были еще студентами, вы, Елизар Юльевич, писали сталинско-лакировочные романы и даже за один из них получили Сталинскую премию. Я не помню, во-первых, что вы от премии отказались, а во-вторых, чтобы с вами перестали здороваться.

* * *

Иногда на каком-нибудь литературном вечере или просто во время разговора, когда обостряется полемика, кто-нибудь из оппонентов начинает: «Кого вы обвиняете? На кого вы хотите все свалить? Разве не сами вы из церкви выбрасывали иконы, превращали церкви в склады, а то и вовсе разбирали их на кирпич, сбрасывали колокола, увозили семьи раскулаченных на железнодорожные станции? На кого же вы хотите свалить вину?»

Приходится отвечать: «Знаете ли вы, дорогие оппоненты, что в каком-нибудь Освенциме около печей стояли евреи? Заключенные. Утром распределение работ: кому дорогу мостить, кому у печей стоять. И покорно стояли. Но не можем же мы на основании этого сказать, что евреи сами себя уничтожали в концлагерях?!»

* * *

В 85-м году у меня были серьезные неприятности. Я к этому времени закончил (в основном) книгу «Ненаписанные рассказы». Около 150 миниатюр, эпизодов, случаев из жизни, написанных с той долей правдивости, которая никак не ложилась в приятное и официальное представление о нашей действительности. И вот десять рассказов из этой рукописи, нигде не опубликованных, каким-то образом (я знаю теперь — каким, но это предмет для отдельного разговора) «утекли». Они попали в «органы», оттуда — в МГК (Гришин), из МГК — в партком Московской писательской организации и с самыми жесткими указаниями. Мне грозило исключение из рядов КПСС, а затем из Союза писателей. И только начавшееся веяние гласности и перестройки «спасло» меня. Хотя для биографии, может быть, было бы даже интереснее: не каждый день и не каждого писателя исключают из партии и из СП СССР за правду. Но это опять-таки тема для особого разговора. Вспомнил же я другое. Вспомнил я, как мой хороший (если не лучший) друг, тоже, между прочим, член СП СССР, Герой Советского Союза, доктор наук, профессор, узнав о моей истории, сокрушенно и укоризненно воскликнул: «Чего тебе не хватало?»

Вот она, наша психология.

* * *

Во время войны, с первых же ее дней, всех мужиков и парней нашего села взяли в армию, на фронт. На сорок домов нашего села не вернулось с фронта восемнадцать человек. Уцелевших можно пересчитать по пальцам одной руки. И был один необычный случай. Прошел слух, что молодой мужик, то есть недавно женившийся, которого все звали в селе Панька, дезертировал. Сумел каким-то образом убежать. Не с фронта, конечно, а здесь еще, где-то в наших местах, скорее всего

во время перевозки новобранцев или со сборного пункта. За кустик, за кустик — да и был таков.

Ну, все равно, какая его, дезертира, могла ждать судьба? Впереди четыре года войны. Поймают и расстреляют. Все ждали слухов и вестей о Паньке, именно о том, что поймали и расстреляли, но слухов не было, никаких слухов не было. Пропал Панька, и все тут. Пропал.

Год назад в одной из химчисток, где я сдавал кое-какую одежонку и где пришлось при заполнении квитанции назвать свою фамилию, приемщица обратилась ко мне:

— Извините, я вижу вашу фамилию. Вы должны были хорошо знать одного своего земляка, из вашего села... — и она назвала имя-отчество Паньки.

— Конечно, знаю. Но ведь он давно уж погиб, вернее — пропал. Более сорока лет назад.

— Нет. Он умер в этом году. Всю жизнь он прожил у меня в Малаховке. И надо сказать, жили мы хорошо...

Что называется, сюжет для небольшого рассказа.

* * *

Есть такая русская эмигрантская писательница Нина Николаевна Берберова. Она написала несколько романов, которые, кажется, оцениваются не очень высоко, и очень известные воспоминания «Курсив мой». Эти воспоминания я читал, и действительно, читая их, понимаешь, что имеешь дело с человеком острого, охлажденного ума. Но охлаждение ума тоже хорошо в меру, чтобы не превратилось в цинизм. Так, в самом начале этих автобиографических записок (2 тома) я столкнулся с чудовищными строками, после которых, что бы ни писала и ни говорила Н. Берберова, что бы ни говорили мне о ней самой, какой бы интересной и умной она ни была, я уже не мог освободиться от впечатления от тех чудовищных строк. Вот они, эти строки:

«В церковь я не ходила. Сначала меня водили, потом, когда я подросла и водить было уже невозможно, я старалась увильнуть от „утоли мои печали“ и всего того, с чем я не чувствовала ничего общего. Помню, когда мне еще приходилось бывать там, как в каждое воскресенье в левом приделе стояли рядом маленькие гроба с младенцами — шесть, восемь, иногда и больше. Младенцы были все одинаковые, похожие не то на кукол, не то на пасхальных поросят, которым кладут в рот салатный листок».

Комментировать эти строки мне кажется излишне.

* * *

У смоленской поэтессы Нины Яночкиной есть стихотворение о соловьях. Они-де поют затем, что соревнуются. Кто лучше споет, к тому и прилетит соловьиха. Оставим в стороне заблуждение Н. Я. с точки зрения орнитологии. То ли соловьи (певчие птицы вообще) поют, обозначая свой «застолбленный» участок леса, то ли оповещает самец, где он находится, и тем приманивает самку, то ли поет просто для собственного удовольствия, потому что не может не петь, то ли и правда (но менее всего вероятно) происходит у самцов соревнование, своего рода турнир на победителя.

Как бы то ни было, поэтесса сделала вывод:

О, если б люди на земле,
Когда придет беда большая,
Все споры, зревшие во зле,
Не кровью — песнями решали.

Оно, конечно, хорошо бы, и так-то оно так, но... где гарантия объективности? Был же случай, когда «королем поэтов» избрали Игоря Северянина. В отличие от многих я считаю Северянина очень интерес-

ным, своеобразным поэтом, но ведь были и жили в то время Гумилев и Ахматова, Есенин и Маяковский, Блок, наконец. Победил же на состязании поэтов Игорь Северянин. Правда, от этого никто не умер, но и справедливость не восторжествовала.

А ведь еще не было тогда такого понятия, как массовая культура, не было средств массовой информации, обрабатывающих (оболванивающих) сознание масс, искусственно создающих общественное мнение. Вдруг при определенной настроенности аудитории (массы) победила бы не Обухова, не Елена Образцова, не Синявская, не Гоар Гаспарян, а Алла Пугачева? Вдруг при том массовом психозе, который возник, например, вокруг Высоцкого, пальму первенства присудили бы как певцу ему, а не Шаляпину, Карузо или хотя бы Вертинскому, а как поэт он выиграл бы состязание у Есенина, Блока, а то и у Пушкина с Лермонтовым (хотя Высоцкий в строгом смысле слова и не певец, и не поэт). Конечно, никто не умер бы, но справедливого решения спора, о котором печется Яночкина, при этом не получилось бы.

* * *

«Создал песню, подобную стону...» Уж будто как песня, так и стон, где песня, там и стон. Не сам ли Некрасов писал: «Будут песни к нему хороводные из села на заре долетать, будут нивы ему хлебородные безгреховные сны навевать». Наверное, хороводные песни не были похожи на стон.

* * *

Я знаю нескольких хороших русских интеллигентов, которые не принимают частушку, считают ее чем-то низменным, примитивным и грубым. А между тем в частушке очень много тонкой лирики, тонких наблюдений, чувств, выразительности, точности.

Обещался ко мне милый
Во десятом часу быть.
Девять часиков пробило —
Начинает сердце ныть.

Разве это не точно?

Ой, какой сегодня месяц,
Какое сияние,
Я сегодня как-нибудь,
А завтра на свидание.

Тут и сожаление, что зря пропадает такой вечер, и предвкушение завтрашней встречи с любимым при таком же лунном сиянии. Вот попытался пересказать частушку, а получилось длиннее и хуже.

Было, было крыльцо мило,
Был уютный уголок,
А теперь я пройду мимо,
Только дует ветерок.

Тут надо знать, что влюбленная пара, чтобы уединиться и «гулять», сидеть, разговаривать, целоваться, облюбовывает себе обыкновенно чье-нибудь чужое крыльцо, на котором и проводит многие (летние) вечера до утренней зорьки, до холодной обильной росы на траве.

Залеточка дорогой,
Залеточка модный,
Погуляли мы с тобой
По росе холодной.

Залетка — это частушечное название ухажера. Происхождение этого слова понятно. Ведь парни гулять ходили в другие деревни, иногда верст за пять, а то и за семь.

Мы чужие крыши кроем,
А свои не крытые,
Мы чужих девчонок любим,
А свои забытые.

И вот такой-то парень, пришедший за 5—7 верст (залетевший издалека), и стал в частушках называться «залеткой».

У меня залетка был,
За семь верст гулять ходил,
Сама не знаю почему
Измену сделала ему.

Я люблю, когда пылает,
Я люблю, когда горит,
Я люблю, когда залетка
Об измене говорит.

В споре с человеком, отрицающим частушку, приводишь и этот аргумент: «Блок знал частушку и, видимо, любил ее. В «Двенадцати» слышатся частушечные мотивы».

— Но частушка не знает Блока и никогда его не узнает. Это как полярные точки.

— Может быть. Но полярные точки одного явления, одного народа, одной культуры. И Блок и частушка явления наши. Национальные.

* * *

В каждом языке есть множество слов, заимствованных из других языков. Много их и в нашем родном языке. Тюркские, немецкие, английские, французские слова в большинстве случаев уже и не воспринимаются нами как чужие: башлык, башка, таган, вестибюль, футбол, гол, рейд, циркуль, сувенир, круиз, билет, метро... сотни и тысячи слов.

Иногда получаются курьезы (опять-таки французское словечко), наиболее известные из них: шваль, шаромыжник, шалеть («ты что, ошалел, что ли?»). Первые два остались у нас от нашествия Наполеона. Шваль — лошадь. Отступающие французы питались дохлыми лошадьми. Слово «шваль» произносилось ими, надо полагать, часто, а у русских крестьян, слышавших это, связалось в сознании с дохлятиной. Отсюда и — шваль. Когда те же голодные и оборванные отступающие солдаты просили поесть у тех же русских крестьян, они обращались к ним «шер ами» — «дорогой друг». Отсюда легко допустимо: «Ну, Марья, гляди, опять эти шаромыжники (шер амижники) идут...» Слово «шалеть» пришло, вероятно, через барские усадьбы, жители которых (господа) все говорили по-французски. Мужички опять же послушали: «Шалёр» — «жара»... «Шалёр» да «шалёр», а потом у кого-то и выскочило: «ты что, ошалел?» Но это все еще не курьезы. Мало ли — повторим — заимствованных слов в языке. Но вот северные губернии: Вологодская, Архангельская, Олонецкая. Замкнутый регион. Везде в частушках «милка», «миленок», «забава», «забавушка», «залетка».

Милка, чаешь, милка, чаешь.
Чай, уж чаю напилась,
Чай, обулась, чай, оделась,
Чай, гулять уж собралась.

Мы с залеточкой (с миленочком) прощались
У большого озера.
Была тихая заря,
И слегка морозило.

Но вот в северных губерниях вместо всех этих залеток и милок — дроля.

Меня дроля провожал
Ельничком-березничком...

Даже в стихах у Прокофьева (он олонецкий): «ты, клянусь разлукой, дроля»...

«Дроль» по-французски «забава». Можно не сомневаться, что именно это словечко заимствовано у Франции северными частушками. Но каким путем и почему только северными частушками? Загадка.

* * *

В одном из «камешков» я выписал целиком стихотворение Бориса Симонова из Вязников. Живя по путевке в переделкинском Доме творчества, он заходил ко мне. Его привлекли книги на полках. Иногда, уезжая по делам, я оставлял его на целый день, он сидел у меня и читал. Ну, какие там особенные книги... Библиофилией, наподобие Наровчатова или Цыбина, я никогда не занимался, книжного антиквариата у меня нет, или, скажем, почти нет. Но бывая за границей, я иногда привозил оттуда книги на русском языке, недоступные (кем-то превращенные в недоступные) для всех людей, живущих в Советском Союзе. Борис видел у меня, например, четырехтомник Гумилева, трехтомник Ахматовой, трехтомник Мандельштама, четыре тома Цветаевой, неиздающиеся у нас произведения Бунина, Бориса Зайцева, Набокова, Замятина, Георгия Иванова, Владимира Соловьева, Бердяева, Сергея Булгакова, Франка, Лосского, двухтомник Клюева, двухтомник Ходасевича, книги Ремизова, Розанова, Трубецкого («Умозрение в красках»), Солженицына, в конце концов...

Получаю от Бориса Симонова письмо.

«...Постараюсь в мае опять попасть в Переделкино — ваша библиотека не выходит у меня из головы. Жаль, что такие чудо-книги не довелось прочитать в молодости...»

Теперь, на этом примере, воскликнем с оттенком негодования и даже проклятия: «Кто, по какому праву лишил целые поколения русских людей возможности читать русские книги и тем самым по живому мясу перереза́л связи между поколениями, выстригал ножницами целые периоды родной истории, литературы, философской мысли? Кто старательно, иезуитски-продуманно и преступно нарушил преемственность в исследовании, а значит, и в развитии родной культуры? Кто был заинтересован в том, чтобы целые поколения людей вырастали и формировались как можно тупее, глупее, невежественнее, однообразнее, примитивнее, забитее, а — как следствие этого — послушнее и покорнее? Кто посадил нас на духовный паек и держал на этом пайке в течение десятилетий? Да и не рано ли еще глагол „держать“ ставить в прошедшем времени?»

* * *

Недавно в какой-то книге я прочитал остроумное рассуждение. Человека зовут Вольфрам Петрович. Вспомним также все эти: «Труд Иванович, Борьба Ивановна, Тракторина, Электрификация, Идея Сергеевна, Баррикада, а также аббревиатуры: Вил, Велиор (великий организатор революции), Ким, Кармий (Красная Армия), Гертруда, Боркомин (борец коммунистического интернационала) и т. д. и т. п.

Спрашивается: может ли такое имя говорить что-нибудь о его обладателе, хоть как-нибудь его характеризовать? Казалось бы — нет. А дальше и само рассуждение. Такие имена могли давать своим детям только родители-идиоты. Ну а это для характеристики человека не так уж и мало.

* * *

Мой коллега живет на даче в Переделкине. За многие годы он наладил зимой кормушки для белок и для синичек. На специальную подставку каждое утро насыпает семечек, и белки по пять-шесть штук сбегаются, кормятся, резвятся к вящему удовольствию их благодетеля. И вот откуда ни возьмись ястреб — огромная красивая птица — схватил и унес белку. Можно представить себе возмущение писателя. Он зарядил и приготовил ружье. Когда же потом он поделился с приятелем, что хочет застрелить хищную птицу, приятель его не одобрил:

— Жалко, конечно, белочку, такое милое существо. Но белок в здешнем лесу десятки и сотни. Ты же застрелишь, возможно, последнего ястреба, обитающего в этих местах.

* * *

Нас не учили любить ближнего или ближних (кроме разве вождя), нас учили ненавидеть врагов. Нас воспитывали не на любви, а на ненависти.

* * *

Когда, написанный в 1964 году, мой роман «Мать-мачеха» публиковался в журнале, из него был убран главный сюжетный ход, вернее — главный узел этого сюжетного хода. По объему это несколько страничек, пять-шесть, не больше.

То, что я назвал сюжетным ходом, в кинематографе называется — сценарный ход. Считается при этом, что если нет сценарного хода, то нет и фильма. Приведем один только пример. Влюбленные мужчина и женщина потерялись в современном человеческом муравейнике. На протяжении фильма они ищут друг друга, но все время им что-нибудь мешает соединиться. Наконец, после долгих лет разлуки, они встречаются. Их ждет счастье любви и совместной жизни. Они садятся на пароход, чтобы отправиться в свое свадебное путешествие. Последние кадры фильма: пароход отплывает, на борту надпись: «Титаник».

Теперь представим, что эти последние кадры вырезаются. Не половина фильма, не десятки метров пленки, но только последние кадры. А результат?

Можно при этом уговаривать автора фильма: ведь все осталось. Как они любят друг друга, как они ищут друг друга. Но зачем такой мрачный финал?

* * *

Считается, что написать и опубликовать книгу важно вовремя, в нужный момент. Наверное, так и есть. Тургенев даже в одном из «стихотворений в прозе» говорит, как важно не просто сказать слово, но сказать его в нужный момент.

Я помню, какая буча заварилась и кипела вокруг романа В. Дудинцева «Не хлебом единым». Тогда это было событие огромной важности, как бы знамение времени. Собирались собрания, гремели с трибуны ораторы, шумела иностранная пресса, вещали разные «голоса».

Грустно думать, но появись этот роман от буковки до буковки сейчас, не вызвал бы он такого резонанса. Точно так же, как очень спокойно воспринят сейчас роман Бека «Новое назначение», который в пятидесятые годы был бы воспринят по-другому.

Но вот — «Мастер и Маргарита». Роман написан в тридцатые годы, пролежал 26 лет после смерти писателя, и весь мир считает его романом века. Тут, возможно, парадокс. Не исключается, что в тридцатые годы этот роман встретили бы не с сегодняшним восторгом, а с недоумением. По крайней мере у нас в Москве, у нас в стране.

* * *

У Михаила Васильевича Нестерова есть картина, которую нужно считать жемчужиной русской живописи. По существу, это «Портрет дочери» художника, но картина более известна как «Девушка в амазонке». Это один из немногих поэтически завершенных портретов, художественно обобщенных образов русской девушки начала XX века. В одной из монографий о Нестерове читаем об этой работе: «В красоте лица, в нервной выразительности рук, в стройности и хрупкости ее силуэта — во всем облике «Девушки в амазонке» проступает душевный уклад, жизненный строй, свойственный девушкам из русской образованной среды начала нового века. Эта «Девушка в амазонке» могла не быть дочерью Нестерова, но она любила его картины, она читала Блока, она слушала Скрябина, она смотрела Айседору Дункан, точно так же, как «Смолянки» Левицкого читали тайком Вольтера, слушали «Тайный брак», играли на арфе и танцевали бальные пасторали».

Положительный, можно сказать, идеальный образ русской девушки...

И вот вчера, из телефонного разговора с дочерью «амазонки», с внучкой, значит, Нестерова, Ириной Викторовной, узнаю, что эта «амазонка» в возрасте пятидесяти двух лет в 1938 году была арестована, сослана в лагерь и возвратилась оттуда калекой на костылях.

Да разве одного этого факта, без десятков миллионов других жертв, без голода, который неоднократно выморивал тоже многие и многие миллионы невинных людей,— разве одного этого факта с дочерью великого русского художника Нестерова, с идеалом русской девушки в образе амазонки, не достаточно, чтобы понять, с какой властью, с каким государством мы имели дело на протяжении десятилетий? Прославлять или проклинать мы должны эти десятилетия?!

* * *

Много я видел разных памятников, но этот произвел на меня наисильнейшее впечатление. Все мы знаем, что такое «сараевский выстрел». Студент Гаврило Принцип, член организации «Молодая Босния», боровшейся за освобождение Боснии и Герцеговины, стрелял в наследника австрийского престола Франца Фердинанда и убил его. Этот выстрел послужил поводом для начала первой мировой войны со всеми последствиями.

И вот, когда я оказался в Сараеве, я захотел посмотреть, во-первых, место, где был убит наследник, а во-вторых, памятник стрелявшему. Ведь Гаврило Принцип считается национальным героем Югославии, не может быть, чтобы в Сараеве ему не стояло памятника.

И вот памятник: на тротуаре ограничен медной полоской участок асфальта поменьше квадратного метра, а в этом квадрате — следы от башмаков Принципа. Как он стоял во время выстрела, так и остались навечно его следы, вдавленные в асфальт. Вот и весь памятник.

Узкий мостик через речку, узкая набережная улица, узкий перекресток, перпендикулярная речке улочка (как бы продолжение моста), прерываемая набережной улицей. Вся картина того времени сразу встает перед глазами. Проезд наследника в летнем открытом экипаже, шпалеры празднично одетых людей... Когда мысленно встаешь на следы на асфальте, сразу становится ясной поза стрелявшего, куда он смотрел, в какую сторону направлял свой пистолет.

Впрочем, наиболее бесцеремонные туристы, особенно американцы, не мысленно, а на самом деле стремятся постоять на следах.

* * *

Поэт Михаил Беляев написал прозу. Это воспоминания о детстве, которым придана форма художественного произведения, повести, что

ли. А детство у него прошло на оккупированной немцами территории, в Орловской, если не ошибаюсь, области. Ну, повесть как повесть, живут мальчишки, женщины под немцами, действует староста, полицаи, партизаны, все, чему полагается и как полагается быть. Я читал эту прозу в рукописи, рецензировал ее, не знаю, не следил, издана ли она сейчас. И вот был там один эпизод, который я много лет советовал Михаилу развернуть в самостоятельную повесть. Это была бы не очень длинная повесть, по моему ощущению, страниц на 100—150, но если бы он ее написал, она сразу выдвинула бы его в первые ряды самых лучших современных писателей. Я думаю, ее перевели бы на все возможные языки и автор наполучал бы за нее разных премий.

Нет, конечно, имело бы значение — как написать, но сам материал этого эпизода, сам сюжетный ход эпизода настолько необыкновенны, интересны, общечеловечны, гуманны, остры, прекрасны, особенно на фоне той жуткой войны, что повесть определенно принесла бы М. Беляеву известность и славное имя. Однако уговорить М. Беляева я так и не смог.

Что же за эпизод? Напишу так, как я его запомнил после одного, теперь уж давнишнего прочтения. В деревеньке произошла стычка немцев с партизанами. После перестрелки партизаны отошли в лес, а немцы тоже куда-то, наверное, в другой населенный пункт. Во дворе дома, в котором обитала женщина с двумя мальчишками, остался лежать тяжело раненный немецкий солдат. Без сознания, стонет. И вот задача для женщины с мальчишками: что с ним делать? Добить? Но какие же они добивальщики? Оставить так, пусть сам «доходит»? Он стонет. Каково это слушать? В конце концов они затащили его в избу, дали попить. Он оклемался, пришел в себя. Теперь уж и вовсе невозможно его добить. Шаг за шагом, день за днем начали они немца выхаживать. Каждое существо, которому помогаешь, невольно и неизбежно привязывает к себе. И женщина и мальчишки тоже стали привязываться к раненому. Так среди чудовищной мясорубки и бойни расцвел цветок милосердия.

И когда при новом налете партизан немца все же убили, его жалели уже почти как родного. Нарочно не придумаешь такого сюжета.

* * *

Не устаешь удивляться точности, глубине и остроумию пословиц. Говорят иногда: «Что ты носишься (суетишься по какому-либо поводу, хвалишься чем-либо), как нищий с писаной торбой». Действительно, вот у нищего появилась новая, красивая, с вышивкой (писаная) торба. Разве не повод для радости, показать всем, похвастаться: вот какая красивая новая торба! Да, но это лишь торба нищего. Ходить «по миру», собирать милостыню и класть куски в эту торбу.

* * *

С древнейших времен существовал в народе обычай: бухнет похоронный колокол — надо перекреститься. Тем более, если попадется навстречу похоронная процессия или мимо дома пронесут покойника, обязательно надо перекреститься. Мужчины как-то сдержаннее были на этот счет, разве что старики, парни те и вовсе... но чтобы женщина, чтобы старушка не перекрестилась при виде покойника, трудно себе представить.

И вот хоронили Федю Абрамова. С аэродрома процессия медленно проследовала через районный поселок в его родную деревню. На другой день через всю его деревню процессия проследовала до места похорон над Пинегой на высоком берегу. И в том и в другом случае процессия двигалась мимо множества земляков Федора Абрамова, кроме того, из всех окон выглядывали люди. И вот — загадка. Я зорко на-

блюдал за людьми — ни одного крестного знамения. А ведь это богомольные староверческие места. Объяснить не умею.

* * *

Летели на самолете из Ургенча в Москву. Уже и ремнями пристегнулись, как вдруг одна женщина обнаружила, что села не в тот самолет. Ей нужно в Ташкент. С беспрерывными возгласами «кошмар, кошмар», хватая свои сумки, незадачливая пассажирка успела-таки выскочить из самолета. Все успокоилось. Только одна старая узбечка стала обращаться к своим соседям, а потом и к другим пассажирам: «Что такое кошмар? Что такое кошмар?» Никто ей долго не мог ответить. Наконец я с точностью энциклопедического словаря пояснил: «Кошмар — это страшный сон». Узбечка облегченно вздохнула и даже стала всем объяснять: «Оказывается, кошмар — это страшный сон».

* * *

Возьмем два письма, написанные двумя замечательными деятелями русской культуры в разное время, при разных обстоятельствах, двум разным и — как видно из писем — замечательным русским женщинам.

«Мое самое искреннее сочувствие будет сопровождать Вас в Вашем тяжелом странствовании. Желаю от всей души, чтобы взятый на себя подвиг не оказался непосильным. С великой нежностью целую Ваши милые, милые руки, которым предстоит делать много добрых дел».

Написано Иваном Сергеевичем Тургеневым из Парижа в Россию в 1877 году.

«Милая Соня!

Позвольте мне по старой дружбе с Вашей семьей называть Вас так, несмотря на то, что Вы превратились теперь во взрослую барышню. Спасибо Вам за Ваше милое, ласковое письмо, которое я не заслужил.

Вспоминая прошлое, я браню себя за то, что мало отдавал внимания окружавшей нас тогда молодежи. В наш грубый и жестокий век, когда все, даже молодые сердца закрыты или наполнены ненавистью и злобой, такие письма, как Ваше, — редкость, и я благодарю Вас за него вдвойне. Радуюсь, что теперь, находясь временно за границей, могу ответить на него, т. к. из России мне не удалось бы этого сделать.

Часто вспоминаю Вашу милую семью, с которой я был связан дружбой и хорошими минутами... Мане, брату и всем, кто меня помнит, шлю сердечный привет. Вас же благодарю и приветствую.

Сердечно преданный К. Алексеев (Станиславский). 28.7.1929 г. Баденвейнер».

Об авторах этих писем говорить не приходится. Имена Тургенева и Станиславского не требуют пояснений. Поговорим об их адресатках.

Тургенев пишет одной из самых блистательных петербургских красавиц, баронессе Юлии Петровне Вревской, своей доброй знакомой. Женское очарование, самоотверженность и доброта сочетались в ней с пламенным патриотизмом. В. Левченко пишет о ней: «В 1877 году началась русско-турецкая война. В освободительном походе на Балканах, как известно, участвовали не только мужчины-воины. Обстановка в российском обществе, накал благородных чувств были таковы, что многие женщины добровольно направились на фронт. Милосердные сестры — так их тогда называли. Среди них была и та, кого благословлял Тургенев, — Юлия Петровна Вревская — одна из блистательных петербургских красавиц».

С войны Юлия Петровна не вернулась, она умерла от тифа. В Болгарии, в городе Бяла ей поставлен памятник.

Теперь об адресатке Станиславского. Это Соня — Софья Михайловна Зёрнова.

Зёрновы, дети доктора Зёрнова, две сестры и два брата, являли собой образец той русской интеллигенции, образованной, талантливой, жертвенной, многосторонне развитой, которая сформировалась к моменту революции и которая, продолжая культурные традиции XIX века, явила бы миру чудеса просвещенности, искусства, гуманизма, красоты и духовного богатства. В доме Зёрновых бывали, восхищались молодостью — Станиславский, Качалов, Книппер, Хмара, Рахманинов... В одном из писем Станиславского можно прочитать: «Дети Зёрнова подросли, странная и милая молодежь».

Вся семья, естественно, оказалась в эмиграции. В двухтомной «Семейной хронике Зёрновых» подробно описано, как синеглазая русская девушка уходила с белой гвардией в Грузию, а затем через Батуми в Константинополь, а потом в Югославию, а потом и в Париж. Соня Зёрнова была той юной русской красавицей, которая от имени эмиграции на балу преподнесла королю Югославии платиновый браслет (по другой версии подкову) в бриллиантах и сапфирах в благодарность за то, что король русскую эмиграцию приютил. Всю жизнь Софья Михайловна вела активную деятельность по воспитанию молодежи, помогала бедным эмигрантам. В последние годы своей жизни (Софья Михайловна скончалась в 1972 году) она руководила приютом эмигрантских сирот в Монжероне. То есть, опять же, то же самое — милосердие.

А теперь поставим вопрос ребром. Живи Соня Зёрнова в 1877 году, с ее добротой, с ее жертвенностью, с ее душой, разве не могла бы она оказаться в числе милосердных сестер (тем более дочка доктора), разве не могла бы оказаться на месте Юлии Петровны Вревской, памятник которой стоит в Болгарии? А баронесса Вревская, живи она не в 1877 году, а в 1917 году, где бы оказалась она и что бы с ней стало? В лучшем случае она оказалась бы на месте Сони Зёрновой, то есть в эмиграции. А в худшем... Нетрудно вообразить.

* * *

Есть портрет А. Толстого, написанный Кончаловским. Алексей Николаевич изображен во время обеда. Огромная семга, источающая розовый жир, гора икры... Теперь уж не помню всей снеди, расставленной на столе. Да, А. Толстой избежал полуголодного, чтобы не сказать нищенского бунинского, купринского, шмелевского (Ивана Шмелева), зайцевского (Бориса Зайцева), вообще эмигрантского существования. Он ел от огромной семги. Но ведь ему пришлось написать роман «Хлеб», а это — кто понимает — хуже голода, хуже пытки и казни.

* * *

Троцкий, развязавший на всей территории бывшей Российской империи чудовищный террор, какого не знало человечество за всю свою историю, Троцкий, на совести которого десятки миллионов человеческих жизней, причем самых добрых, самых красивых, лучших людей, совершенно невинных людей, этот Троцкий в последние годы перед смертью, оказывается, разводил кроликов и, говорят, трогательно любил этих животных.

* * *

На чем и как нас воспитывали? Ну, Павлик Морозов, предавший отца, это уже — общее место. Щипачев даже написал поэму, прославляющую предательство как высшую доблесть. Факт единичный, вероятно, во всей мировой литературе. Но вот кто помнит, с чего начинается «Как закалялась сталь»? Священник, учитель в школе закона Божьего, спрашивает учеников, кто перед Пасхой приходил к нему на дом сдавать уроки. Дело в том, что один из учеников, а именно, как потом выяснилось, Павел Корчагин, образец человеческого и коммунистического поведения для многих последующих поколений, насыпал в пасхальное

(для кулича) тесто махорки. И это тоже преподносилось нам как доблесть. То есть мелкая пакость преподносилась как доблесть. Пакости, предавай, доноси, ненавидь, воруй (вскоре Павка украдет наган) — все хорошо, если ты воруешь у «классового врага», если ты пакостишь «классовому врагу». Тогда ты не пакостник, не гаденыш, не воришка, а — герой.

* * *

Как известно, первым (из широко известных) политическим русским эмигрантом был князь Курбский. В своей переписке с Иваном Грозным, объясняя мотивы своего эмигрирования, князь обвиняет царя в том, что он «затворил русскую землю, сиречь свободное естество человеческое, аки в адовой твердыне». Так можем ли мы обвинять русскую эмиграцию первых лет революции, когда произошло такое «затворение свободного естества человеческого», какое Курбскому и не снилось?

* * *

Эпизод из фильма «Котовский». Его войска внезапно взяли Одессу, а там в оперном театре идет концерт. Публика — интеллигенция, еще не уехавшая в эмиграцию и еще не истребленная в глухих подвалах. Там мог находиться «в креслах», скажем, и Бунин, живший в те дни в Одессе, и мог он там оказаться с дамой. И вот победитель Котовский, внезапно захвативший Одессу, выходит на сцену, постукивая нагайкой о голенище, мрачным взглядом обводит зал (в фильме это актер Мордвинов) и вдруг командует публике: «Встать!»

Не в том даже дело, что таким оказался Котовский, а в том, что много лет уж спустя создатели фильма видели в поведении Котовского пример революционной доблести и считали, что он принес на своих саблях вполне нормальную в их понимании революционную атмосферу. То есть атмосферу принуждения и насилия. «Встать!»

* * *

Рассказывают, что в эмиграции особенно бедствовали учителя, учившие в школах детей эмигрантов. Материальное положение их было очень тяжелым. И все же в одном им, русским учителям, было легче, нежели их коллегам на родине. Не надо было писать ежевечерне и ежегодно нелепых, унизительных и постыдных конспектов по проведению уроков, не надо было вдалбливать в детские головенки колхозные трактора, ударные бригады, стахановцев и прочую ложь. Они могли учить детей добру, а не бездарным и бездуховным стишкам о пятилетках, они могли учить детей так, как велит им совесть, а не так, как велит роно, гороно, облоно...

* * *

Можно писать при свечах, при керосиновой лампе, при настольной электрической лампе, просто при электрическом свете, при коптилке, просто при дневном свете (лучше, чтобы он падал слева), а вот Олег Михайлов сказал про Ивана Шмелева, что он писал при свете Евангелия.

* * *

У Бориса Корнилова есть строфа, которую я люблю про себя повторять:

Айда, голубарь, пошевеливай, трогай,
Коняга, мой конь вороной!
Все люди как люди, поедут дорогой,
А мы пронесем стороной.

Ну, не такой уж тут глубокий философский или житейский смысл, чтобы кто-нибудь мог его не понять. И все же в полной мере не смысл,

а очарование этой строфы может понять только тот, кто помнит зимние дороги того времени, масленичные катания на наших дорогах и что это означало тогда — «пронестись стороной». А означало это тогда не просто обогнать несколько подвод, но настоящую удаль.

Дорога с осени укатывалась, и укатывалась до твердости (на морозе) почти что камня. Она не только укатывалась, но и накатывалась, то есть поднималась все выше и выше. По сторонам ее все подсыпало и подсыпало снегу. Так что сразу и не узнаешь, как высоко уже «накатались» зимние твердые дороги. Узнать это можно было, только сделав шаг в сторону. Сразу вязнешь в рыхлом снегу выше колен. Теперь надо представить себе, как глубоко увязла бы лошадь, свернув с дороги. Почти по брюхо. И саночки, в которые она запряжена, тоже сразу вязли в снегу.

И вот — масленичные катания. Десятка два упряжек, саночки, повозки, сани, полные радостных детишек, там в саночках молодые муж и жена, там — несколько парней. Трусцой ли, рысью ли, но — по дороге. По накатанной дороге. В сторону ведь не свернешь: пышный снег лошади по брюхо. Но находится лихач в легких саночках (и рысак ему под стать), и вот он лихо сворачивает с дороги и по целику, взрыхляя снег, обгоняет едущих по дороге. Тут нужны были рывок, азарт, удаль. Себя показать, лошадь свою показать. А может, еще и девка нравящаяся в чьих-то санях, перед ней показаться, покрасоваться...

В наших местах выездных рысаков не держали: только те были лошади, на которых пашут, возят снопы, крестьянские рабочие лошади. Лишь в деревне Пискутино некто Мазин держал рысаков. Так они и назывались — мазинские рысаки. И вот все мы трусим на масленицу, катаемся по дороге: лошадь за лошадью, сани за санями, вдруг — вихрь, снежная буря в стороне от дороги. Что такое? Мазин на своем рысаке пронесся! Так что самому мне (ни моему отцу на Голубчике) не приходилось проноситься стороной, обгоняя остальных. Оставалось только смотреть, как обгоняет нас Мазин. Тем не менее с какой-то тайной сладостью иногда повторяю про себя эти строчки:

Все люди как люди, поедут дорогой,
А мы пронесем стороной.

Осталось, видимо, что-то в характере от тех времен, хотя нет уже больше ни масленицах, ни катаний, ни Мазина, ни мазинских рысаков, ни деревни Пискутино, ни просто хотя бы лошадей.

* * *

Во время войны 1941—1945 годов миллионы советских солдат оказывались в плену. Ведь была даже РОА, русская освободительная армия, так называемые власовцы. Но даже если и не власовцы, все равно все пленные, что возвращались на родину, во-первых, проходили специальную проверку, а во-вторых, оказывались в лагерях. После немецких лагерей — советские лагеря. Практически все пленные несли на себе клеймо изменника родины. Известно, что по сговору со Сталиным англо-американское командование выдало после войны советской стороне больше миллиона пленных, их погрузили в австрийском местечке в эшелоны и прямым ходом — в Сибирь. Многие стрелялись прямо на подножках вагонов. Но в связи с этим вот что приходит на ум.

Была война, скажем, с турками, когда Суворов брал Измаил. Не было ни одного изменника родины. Была война со шведами (Нарва, Полтава), не было ни одного изменника родины. Была война с Наполеоном. Не было ни одного изменника родины. Была русско-турецкая война, когда освобождали Болгарию. Не было ни одного изменника родины. Была война с Японией в 1904 году. Не было ни одного изменника родины. Была, наконец, война с немцами в 1914 году. Не было ни одного изменника родины. Откуда же и почему же взялись вдруг миллионы изменников?

* * *

Было время, когда распространение любого текста, даже песни, строго контролировалось государством. Песню, конечно, можно было запомнить (а потом запомнит другой), но само «привнесение» песни было контролируемо и, так сказать, ограничено в своих возможностях. Патефонные пластинки, выпускаемые государством,— вот это и был песенный паек. А то, что исполнялось по радио или в концертах, тоже было строго контролируемо. Из-под полы продавали Вертинского, записанного на рентгеновских снимках, на этих тонких пленках, которые можно было свернуть в трубочку. Посмотришь на просвет: легкие с затемнениями, кости с переломами, а на бороздках, если поставить на патефон: «Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Ли?..»

Пишущие машинки в учреждениях на выходной день сносились в одну комнату и на дверь вешали пломбу.

Но вот появился магнитофон, сначала ленточный, а потом появилась и кассета. Карманный предмет на 90 минут звучания. Песенно-звуковая-текстовая информация ушла из-под контроля государства. Ушла окончательно и бесповоротно, ушла, как половодье, которое невозможно загнать обратно в узкие ручейковые берега. Теперь с распространением видеосистем и видеокассет уходит из-под контроля кино, вообще изобразительная информация. На очереди «ксерокс», то есть печатное слово. Бедное государство!

* * *

Не скажу, чтобы много, но все же приходилось летать по международным авиалиниям. Преимущественно, конечно, Аэрофлотом. Все основные пассажиры летят так называемым «экономическим» классом, то есть — обыкновенно. Но есть, оказывается, еще и первый класс. Особый отсек в фюзеляже самолета. Кресла расположены свободно, с пространством, чтобы не нужно было тесниться. Если для обыкновенных пассажиров распитие спиртных напитков запрещено (хотя можно вынуть фляжку из заднего кармана...), то там, в первом классе (а обычно там три — пять человек), стюардессы предлагают на подносах: чего изволите? Коньяк, водка, виски, шампанское, просто вино, пиво? Выпьешь рюмку, думаешь, что выпил положенную норму, а стюардесса уж тут как тут с бутылкой в руке. Доливает опять дополна.

Первым классом в самолете Аэрофлота я летел дважды, оба раза случайно. Один раз меня взял с собой Михалков, когда мы вместе летели из Софии в Москву, второй раз я в Стокгольме за день до отлета устроил вечер-встречу с нашими посольскими и торгпредовскими работниками. На вечере присутствовал представитель Аэрофлота. Ему понравилось. Кажется, даже у кого-то из дипломатов ужин после вечера был, угостили московского литератора, и представитель Аэрофлота на ужине тоже был. После всего этого он поставил на моем билете какую-то печатку (либо прикрепил какую-то красненькую бумажку), и я оказался пассажиром первого класса.

Несколько раз я летал и самолетами иностранных авиакомпаний (скажем, «Люфтганза» или «Эрфранс»), но теперь не могу сказать, существует ли у них первый класс. Если и существует, то это лишь вопрос денег. Плати в два раза больше и получай первый класс. У нас же это вопрос чиновничье-сановной лестницы, вопрос престижа. Не каждому первый класс продадут. Вернее сказать, никому не продадут, кроме тех, кому — положено.

И вот, случайно оказавшись, лечу я в салоне первого класса и думаю: какие преимущества! Просторно, особые улыбки стюардесс, особая еда, особая, одним словом, атмосфера, не говоря уж о напитках. И тут же мелькает мысль: но ведь в случае чего... Ну, там, крыло

отвалилось... ведь не останется у первого класса никаких преимуществ. В море, там хоть, может, в шлюпку посадят в первую очередь, а здесь — ничего. Шмяк! — и все равны. Утешает.

А потом подумаешь: и на нашем глобально-космическом корабле, где тоже одни живут так, а другие этак (это касается и отдельных людей, и целых государств, и целых наций), перед лицом вплотную надвигающейся экологической катастрофы окажемся все равны, и у президента с последним «работягой», у миллиардера с последним нищим, у нации, которая считает себя выше всех, с нациями, которые эта избранная нация считает низшими и презирает, в конце концов шансы окажутся равными. Окажутся эти шансы равными нулю. Утешает.

* * *

Телефильм по литературному произведению, ну, скажем, по «Анне Карениной» или по «Мертвым душам». Сейчас такие телефильмы, в сущности, подменяют чтение. Посмотрит юноша или девушка (а хоть бы и взрослый, пожилой человек, который почему-либо «Анну Каренину» не читал), и читать сам роман как бы уже нет надобности. Зачем читать, когда все уже ясно.

Не будем говорить о преимуществе книги в том, что она стоит на полке, ее можно взять в любой момент, раскрыть, сесть с ней в кресло. Можно отвести глаза от текста, задуматься, осмыслить прочитанное, потом читать дальше.

Не будем говорить о преимуществе книги в том, что, читая ее, погружаешься в стихию языка. Русского языка вообще и языка данного писателя в частности. А это ведь — наслаждение. Одно дело (если использовать это грубое сравнение) принудительное питание через кишку, введенную в пищевод, с воронкой на конце (телевидение), а другое дело — неторопливая, со вкусом, еда.

И все же главное преимущество книги перед телефильмом по этой книге — в другом.

Дело в том, что при чтении книги у читающего невольно включается воображение. Действие романа (рассказа, повести) перед его мысленным взором разворачивается в картинах, он видит обстановку, видит лица персонажей, он видит их живыми, как бы в кино. Преимущество перед кино в том, что читатель при этом сам «режиссирует» свой «фильм», кинорежиссер со стороны не навязывает ему своих концепций, а актеры со стороны не навязывают ему внешнего облика персонажей и действия этих персонажей. То есть чтение книги есть процесс более активный и творческий, более активно-творческий, нежели сидение перед «ящиком», когда человек более потребитель, чем творец.

* * *

Известен факт, что, когда вешали декабристов, у одного из них оборвалась петля (кажется, у Рылеева). На этот счет либералы и демократы потом язвили: «Что за проклятая страна?! Повесить и то как следует не умеют».

Но не следует ли из этого, что в «проклятой стране» мало и редко вешали?

* * *

Одно из лучших стихотворений Державина «Властителям и судиям». Это переложение на русские стихи восемьдесят первого псалма Давида (всего псалмов в «Псалтири» сто пятьдесят).

Значит, восемьдесят первый псалом послужил Державину, можно было сказать, источником вдохновения, толчком, искрой замысла, но

мы скажем более профессионально и узко: подстрочником. Именно с подобных смысловых переводов (а сам псалом — это перевод сначала с древнееврейского на старославянский, а потом уж на современный русский язык) мы и переводим обычно, не зная языков, якутские, грузинские, армянские, аварские и т. д. и т. п. стихи.

Значит, интересно сопоставить оригинал (правда, уже переведенный на русский язык) и то, что из него получилось в поэтическом изложении Державина. Это стихотворение известно всем, но не каждый заглядывал в «Псалтирь», поэтому, уж если мы решили сопоставить два произведения искусства, выпишем восемьдесят первый псалом в его истинном виде. То есть выпишем сначала подстрочник.

1. Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд.
2. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?
3. Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость.
4. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из рук нечестивых.
5. Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются.
6. Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы.
7. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей.
8. Восстань, Боже, суди землю; ибо ты наследуешь все народы.

Псалом по-гречески — песнопение. Это древнеиудейская лирика, восходящая более чем к десятому веку до нашей эры. Мы не знаем, как звучит, как читается или поется псалом в оригинале, то есть на древнееврейском языке. Но после трехступенчатого перевода: с древнееврейского на греческий (византийский), с греческого на старославянский, со старославянского на современный русский — псалмы выглядят именно как подстрочники (смысловые переводы), а не как готовые стихи. Об этом же говорит и указание во всех энциклопедиях, что псалмы на протяжении человеческой истории постоянно «излагались» на разных языках, перекладывались на разные языки. Зачем излагать и перекладывать, скажем, «Илиаду» или сонеты Петрарки? Их надобно просто переводить. Если забыть о том, что всякий перевод стихотворения на другой язык неизбежно есть изложение и переложение.

Посмотрим же, что получилось у Державина при переложении восемьдесят первого псалма Давида на современный Державину литературный русский, а точнее сказать — на державинский язык:

ВЛАСТИТЕЛЯМ И СУДИЯМ

Восстал всевышний бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.

Дальше стихотворение приобретает громоподобную силу. Подивимся также, как оно, восходящее к X—XI векам до н. э., современно звучит:

Не внемлют! видят — и не знают!
Покрыты мздою очеса:

Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, боже! боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един царем земли!

Да, современно это звучало во времена царя Давида, современно это звучало во времена Державина, современно это звучит и сейчас.

Я думаю, нашелся бы новый Державин, чтобы переложить на современный язык первый псалом.

1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей...

Ну, и так далее...

* * *

Когда-то давно я написал рассказ «Под одной крышей». Дело в том, что в начале 30-х годов в наш деревенский двухэтажный, довольно-таки просторный дом подселили приезжую многочисленную семью кузнеца. Как бы это коротко и внятно все объяснить. Дом наш строили два брата Михаил Дмитриевич и Алексей Дмитриевич, мой родной дед, отец Алексея Алексеевича. Михаил Дмитриевич был побогаче моего деда, он даже подарил селу большой колокол весом в 270 пудов, о чем свидетельствовала надпись на колоколе славянской вязью: «Дар крестьянина Михаила Дмитриевича Солоухина». Однако жили они с тетей Настей вдвоем, детей у них не было, поэтому их «половина» дома была меньше нашей. Ведь у Алексея Алексеевича — братья и сестры, да своих десять человек детей. Ваш покорный слуга десятый, младший, последний.

После нашей многодетной, шумной, всегда немножко не то чтобы неприбранной, но все же всегда немножко раздерганной «половины» к тете Насте попадешь, бывало, как в другое, тихое благообразное царство с крашеным чистым полом, изразцовой печкой, золочеными образами в переднем углу. Впрочем, попасть к тете Насте можно было, только обойдя дом вокруг. У нее был свой вход в дом, со своей стороны, а две половины дома разделялись капитальной стеной. Я оттого говорю «к тете Насте», что эту старуху я помню, а Михаила Дмитриевича уже нет. Видимо, он умер раньше, нежели включился механизм моей памяти.

У нас «по улице» было на втором этаже три окна, а у них два окна. Кроме того, весь нижний этаж нашей половины был жилой, а у них он был занят кирпичной кладовой с железными коваными дверями, и только позади уж этой кладовой ютилась кухонька, все почти пространство которой занимала русская печь. Вход на верхний этаж у них был не как у нас, не из нижнего помещения, но прямо с улицы, минуя кухоньку, вела наверх широкая лестница с балюстрадой.

Тетя Настя свою половину успела еще при жизни продать некой женщине Екатерине, а та в свою очередь перепродала ее сельсовету. Многие годы до всяких укрупнений в верхнем помещении тети Настиной половины располагался сельсовет. Нижняя же кухонька была сельсоветом продана многосемейному кузнецу, приехавшему в наше село из

другого села верст за двадцать. Тогда, при лошадином передвижении, это считалось — издалека. Сам кузнец дядя Никита, Никита Васильевич Кузов, жена его — тетя Даша. Это именно с ним произошел у меня в более поздние времена разговор.

— Что же, Лексеич, две девочки у тебя. Надо бы парня.

— Риск большой. А вдруг и третья девочка.

Никита Васильевич задумался, а потом и говорит:

— А ведь у меня семь девок-то было, а потом уж и парни пошли.

Ко времени переезда в наше село две старшие дочери кузнеца Онька и Фронька, то есть, значит, Онисья и Ефросинья, были уже выданы в какие-то другие деревни, еще одна дочь Шура работала в совхозе «Борец». Остальные дети — Машка, Фиска, Васька (называю их так, как звали отец с матерью), Лидка, Колька и Капка — все были при кузнеце и при матери. Как они там ютились в клетушке с огромной русской печью — непостижимо. Они были не просто нашими соседями, но соседями, жившими в нашем же доме, под одной с нами крышей, и мое детство и самая ранняя юность прошли вместе с этой кузовской ребятней. Некоторые из них были постарше меня, некоторые помладше, с Васькой мы были, можно сказать, ровесниками — год разницы.

О дяде Никите и вообще об этой семье из разных моих рассказов и повестей можно насобирать много мелких подробностей. Все эти подробности доброжелательны и освещены мягким светом, вот именно, детства и юности.

Но время шло, умерли старики, разъехались кто куда все дети. Прижилась в Алепине только одна Машка, Мария Никитична, вышедшая было замуж в соседнюю деревеньку, но овдовевшая в первые же дни войны. От этого короткого, буквально недельного брака осталась у нее дочка, с которой она и перебралась из чужой, не успевшей еще стать своей и близкой, деревни назад в материнско-отцовскую, бывшую тети Настину кухоньку.

Тем временем я решил отремонтировать свой родительский дом, откупив у сельсовета, который теперь находился уже в Черкутине, вторую половину дома, за исключением, разумеется, той клетушки с русской печью, где продолжала жить (и жила до смерти) наша соседка.

Из всех детей Никиты Васильевича и тети Даши именно эта дочь оказалась с самым тяжелым и отвратительным характером. Хотя мы и были отделены от нее стеной, но все же, живя в таком близком соседстве, живя вот именно под одной крышей, невозможно было никак не сталкиваться, не общаться, не соприкасаться, и жизнь, накапливая постепенно факты и случаи, сама подсказала мне рассказ «Под одной крышей». Если бы дело касалось только быта, я бы не взялся за этот рассказ, но тут содержался обобщающий момент такой силы (причем двойной обобщающий момент), что я решил пренебречь этической стороной вопроса (писать о соседке) и рассказ написал. И конечно же, как ни изменял я название нашего села и все имена, соседка в героине рассказа Нюшке себя моментально узнала. И факты я тоже многие дофантазировал. Это только кажется, что, если рассказ написан от первого лица, во всем есть фактическая правда и ничто в нем не усилено или, напротив, не затушевано. Сюжетная пружина рассказа была такова: соседка Нюшка приспособилась выливать помои перед нашими окнами, образовалась помойная яма, рассадница мух. Моя жена посыпала гнилостное место дустом. У соседки сдох петух, наклевавшийся, видимо, на помойной яме. Соседка убила в отместку нашего котенка. Жена стала требовать от меня, чтобы я застрелил соседкину собачонку. Дальше выпишем два абзаца.

«Жена рыдала и требовала, чтобы я немедленно застрелил Рубикона. Я и сам почувствовал невыносимую злость. Значит, дело будет выглядеть так: я в ответ на ее злодеяние убиваю Рубикона, она затаптывает в грязь наши простыни, вывешенные сушиться в саду; я беглым огнем истребляю всех ее кур и уток, возможно, поросенка, а она ошпа-

ривает кипятком наших детей... Моя фантазия остановилась на этом месте, но кто знает границы Нюшкиной фантазии и изобретательности! Конечно, она не сможет совершить главного шага — подпалить дом, потому что сама живет под той же крышей...

Вероятно, так и начиналась история на земле. Обида отплачивается обидой. Всегда хотя бы с маленьким перехлестом. Крупица зла породила горошину зла. Горошина породила орех, орех породил яблоко, яблоко породило арбуз... И вот в конце концов накопился океан зла, в котором может потонуть все человечество. Дело подошло вплотную к поджиганию, а еще точнее — к сожжению дома. Хорошо еще, что, как и в нашем микроскопическом случае с соседкой Нюшкой, все живут под одной крышей, и поджечь соседа означает поджечь себя...»

Положение безвыходное. Уехать, допустим, нельзя и некуда (для человечества, для народов, населяющих земной шар, это особенно очевидно), поджечь соседа — значит поджечь себя, а мстить за каждое очередное зло, содеянное соседом, означает лишь умножать зло. Где же выход? И как жить дальше? Именно с таким вопросом подступила ко мне в рассказе жена. Она призывала меня к мужеству как главу семьи, и тут меня осенило, что сейчас самое время совершить поступок именно мужественный, хотя бы ради эксперимента. Я понял, что сейчас на нашем микроскопическом случае представляется нам возможность проверить правильность основного утверждения, а более учено выражаясь, главного постулата учения Христа. Если бы не это, я бы, наверное, не написал рассказа «Под одной крышей».

Далее события развивались следующим образом.

Жена мне сказала:

— Если ты не можешь отомстить (за котенка) и если мы не можем уехать, научи, как жить дальше, что мне делать, как себя вести, говори!

— Видишь ли, ты меня призываешь к мужеству. Но дело в том, что застрелить собачонку... Можно сказать, что мужества в строгом смысле слова для этого не потребуется. Но у тебя есть возможность совершить поступок истинно мужественный, иди и соверши.

— Задушить ее своими руками?

— Нет, возьми колбасу, которую я привез из Москвы (по другому варианту рассказа — пачку дрожжей, что для соседки в рассуждении ее «индивидуальной трудовой деятельности» было дороже колбасы), и отнеси ей. Скажи, что это подарок от нас двоих.

Жена посмотрела на меня испуганно, как на сошедшего с ума (точно так же, наверное, смотрели на Христа, когда он говорил «подставь левую щеку»). Еще бы, ведь это была та доля секунды, когда разогнавшиеся мысли ее, психика ее, злость ее, жажда возмездия — все это должно было остановиться, как при железном тормозе, а затем начать движение в обратную сторону.

— Ты... серьезно?

— Очень... Я подумал, что в создавшемся положении это единственно правильный выход. Ведь если идти и дальше по пути, на который мы встали, получится следующее: я застрелю Рубикона, она затопчет в грязь наши простыни, я перестреляю ее уток, она перешибет ногу нашей дочери... В конце концов останется одно — подпалить дом. Кто раньше успеет. Но в нашем случае это бессмысленно, потому что мы живем в одном доме, под одной крышей. Уехать мы не можем, ее прогнать нельзя. Так что я в самом деле не вижу никакого выхода, но выход есть, и я его предлагаю. Возьми колбасу (дрожжи) и отнеси ее как подарок от нас двоих.

Я вспомнил Христа, ибо собирался совершить христианский, истинно христианский поступок, то есть ответить добром на зло, противопоставить добро злу, столкнуть эти две категории и посмотреть, что из этого выйдет. «Неужели Он еще две тысячи лет назад, — думал я, — понял всю гибельность пути, по которому движется человечество, и, не увидев никакого другого выхода, предложил нечто совсем невообрази-

мое, но, увы, единственное: ты убила нашего котенка, а мы тебе — колбасы...»

Способ жизни единственно правильный, учение воистину великое, только вот остается вопрос: доросло ли человечество до этого учения, достойно ли его человечество? Это учение верно в идеале, отвлеченно и теоретически, но в практике жизни?.. В практике жизни есть люди-волки и люди-овцы. И не заставишь волков питаться репой, капустой и огурцами.

Жена взяла колбасу (дрожжи) и ушла. Я не знал, что происходит за стеной. Может быть, Нюшка швырнула подарок жене в лицо. Может быть, она еще и плюнула ей вдогонку. Я приготовился просить у жены прощения за столь необходимый, интересный, но и столь же тяжелый эксперимент, как вдруг жена вошла в комнату.

Вся она была возбуждена, будто только что получила известие, самое радостное в жизни. Оказывается, сначала Нюшка, увидев ее на пороге, потянулась было за ухватом, но жена развернула и положила на стол наш подарок. Сказала, что сегодня воскресенье, а у нас еще есть, и вот мы решили...

Нюшка будто бы заплакала и бросилась обнимать, и обе они плакали на плече друг у дружки.

Не успели мы опомниться от такого поворота событий, как Нюшка появилась на нашем пороге. В руках она держала решето отборного репчатого лука...

Ну вот. Таков был — вкратце — рассказ «Под одной крышей».

Конечно, узнав в рассказе себя, Нюшка (Машка, Мария Никитична) имела основания обидеться, особенно за первую половину рассказа, где я живописал ее «ангельский» характер, всю склочность и мелочность ее натуры, ее озлобленность. (Кстати сказать, в подтверждение моей несубъективности, в деревне ее не любил никто.) Но ведь если бы она взяла в понимании рассказа чуть выше, она бы могла понять, что я изобразил живость, неомертвелость ее души, ее душевный порыв, а если говорить точно — благородство ее души. Я изобразил ее тоже ведь пусть стихийной, но христианкой. И вот то, ради чего я взялся за этот «камешек», получившийся, правда, длинноватым. В Лос-Анджелесе в университете проходил «круглый стол» советских и американских писателей. Выступая с речью, я пересказал американцам свой рассказ «Под одной крышей». Он очень хорошо проецировался на советско-американские отношения. Уехать друг от друга нельзя. Поджечь друг друга нельзя. Вынуждены жить под одной крышей. Как жить? Кто-то первый должен принести другому колбасу (дрожжи).

Эта, так сказать, концепция легла на душу нашим американским коллегам. Они в своих речах то и дело вспоминали рассказ. На прощальном банкете одна пожилая американка произнесла даже тост: «За Нюшку. За Нюшку с решетом репчатого лука на пороге».

Я подумал в тот момент: знала бы обижающаяся, злящаяся на меня «Нюшка», где и в какой обстановке за нее произносится тост!

* * *

С детства, со школьных лет запала в память строка из какого-то революционного стихотворения: «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка темна...» Я не помню, что там идет дальше, но, что бы ни шло, все равно могу сказать, что строка эта написана бездарным поэтом. Судите сами: тяжелые, мрачные понятия — измена, тиран, совесть, и вдруг — уменьшительно-умилительно-ласкательное — «ночка». Режущий ухо диссонанс. Нет никакого чувства слова. Ну ладно, если было бы хоть «осенняя полночь темна». Тоже не бог весть что, но все же — не ночка.

* * *

Если бы мне пришлось уехать за границу и жить там, я оказался бы в столь же бедственном положении, как если бы колхозный поросенок, выпущенный в лес. Конечно, на колхозном свинарнике — не рай и не благоденствие. Грубые свинарки, грязь, вонь, отвратительное питание, матерная брань, пинки (а за ухом уж не почешут, не до этого), но не нужно вести ежедневную активную борьбу за существование. Конечно, живут в лесу звери, в том числе и дикие свиньи (кабаны, вепри), жить там, значит, можно. Однако поросенок из колхозного свинарника, выпущенный в лес, очень скоро или погибнет, или прибежит назад.

* * *

Часто в разговорах спрашивают: «Что значит — деньги подешевели? Что значит — рубль подешевел? Что значит — рубль превратился в шелуху и ничего не стоит? Почему при неофициальном обмене за один доллар дают десять, а то и больше рублей? И вообще, что значат все эти инфляции и девальвации?»

Приходится объяснять это простым (упрощенным), однако по сути своей верным примером. Вот собрались мы, пятеро мужчин, играть в карты, в «очко». Азартная денежная игра. Однако играем мы в каком-нибудь общественном месте, где ходят люди, неудобно было бы на столе, на виду держать деньги. Мы пошли на маленькую хитрость, нарезали бумажек, написали на них разные цифры, обозначающие их достоинство: 1 руб., 3 руб., 5 руб., 20 коп., 10 коп. и т. д. На этих же бумажках мы расписались, чтобы определить потом, где чья бумажка. У меня в кармане было, скажем, десять рублей. На эти десять рублей и я «выпустил» разных мелких бумажек. Если я все эти бумажки проиграю, то потом, после игры, мне предъявят их, и я за них расплачусь уже настоящими деньгами. В кармане у меня — десять рублей, и бумажек я нарезал на 10 руб. Все сойдется. Но вот я бумажки свои проиграл, а играть хочется. Надеюсь отыграться. Я нарезаю бумажек еще на 10 рублей (никто ведь не знает, сколько у меня денег на самом деле). Теперь, если я проиграю и эти бумажки, в чужих руках окажется их уже на 20 рублей, а в кармане-то у меня только 10! Мне предъявят после игры эти бумажки к оплате, а я скажу: «Делайте что хотите, но я могу оплатить их только по 50 копеек за рубль». Если же я нарежу бумажек и проиграю их на 50 рублей, то каждый мой нарисованный рубль будет стоить только 20 копеек, потому что в кармане у меня по-прежнему одна десятка.

Так и государство, выдает оно зарплату населению, а зарплата эта обратно государству не возвращается: нечего купить, нет товаров. Деньги оседают у населения. Между тем наступает опять день зарплаты. Что делает государство? Печатает деньги. Печатает оно их из года в год, накапливаются в стране миллиарды «лишних» денег. И рубль уже не рубль, а 12 копеек.

* * *

Математически доказано, что жизнь во вселенной не могла зародиться от случайной комбинации химических элементов, атомов. «Если бы, — гласит один из подсчетов, — в любой ячейке пространства объемом в электрон каждую микросекунду испытывалось бы по одному варианту, то за 100 млрд. лет (а вселенная существует лишь 15—22 млрд. лет) было бы испытано 10^{150} вариантов. Это число ничтожно по сравнению с необходимым $4^{1\,000\,000}$ или $10^{600\,000}$ — столько комбинаций из 4 «букв» генетического кода нужно было бы перебрать, чтобы составить ту, которая определяет жизнь. По расчетам американского астронома Дж. Холдена, такой шанс составлял бы 1 из $1{,}3\times10^{30}$.

Так, если методом случайных комбинаций пытаться составить хотя бы самую простую, самую примитивную белковую молекулу, за все время существования вселенной была бы «проиграна» ничтожно малая часть таких вариантов. То есть математически доказано, что жизнь не возникла и не могла возникнуть в результате случайности».

По другим аналогичным расчетам, времени существования Земли также недостаточно для образования и для эволюции системы из примерно двух тысяч ферментов, которыми пользуются земные организмы.

Все это, оказывается, уже известно современной науке, публикуется как в научных, так и в научно-популярных работах. В частности, математические выкладки я выписал из брошюры А. А. Горбовского «В круге вечного возвращения». Так почему же в школе мы продолжаем морочить головы нашим детям рассуждениями о случайном зарождении жизни на Земле и так называемой эволюции?

* * *

В книге речь шла о пространстве, времени, материи, их взаимосвязи, их сущности. И вдруг замечательная фраза: «Сто лет назад ответить на этот вопрос было легче, чем теперь».

* * *

У древних было понятие — «децимация». От слова «десять». Дециметр, декада и т. д. Децимацией назывался способ привести в повиновение взбунтовавшееся войско или непокорный народ путем казни каждого десятого.

Один читатель высказал в письме предположение: не то ли самое происходило на протяжении первых лет после октября 1917 года с нашим народом? Этот самый кровавый террор, это уничтожение как раз 10 процентов крестьянства во время коллективизации. Но нет, дело было еще кровавее и страшнее. Да и число убитых (около 60 000 000) далеко не 10 процентов российского населения. Когда уничтожают каждого десятого, это делается, можно сказать, без выбора. Воины, можно сказать, все одинаковы. В России уничтожались лучшие слои общества. Затем, во-первых, чтобы разрушить само общество и людей превратить в сброд, во-вторых, надо было уничтожить как можно больше генетического, биологического материала, чтобы народ не воспрянул в будущем.

Но, конечно, и децимация тоже имелась в виду.

* * *

На яркой обложке журнала прочитал написанное крупными буквами: «А вместо сердца — пламенный мотор». Уж насколько с детства привычные слова, но тут вдруг мне открылся другой их смысл. Какой бы мотор ни был пламенный, но ведь — вместо сердца! Вспомнились вдруг слова Паратова из «Бесприданницы»: «Иностранец... арифметика у тебя вместо души». А у нас вот, видите, вместо сердца — мотор. Жуть!

* * *

Помнится, будучи еще желторотым студентом, увидел я афишу (в ЦПКиО?): лекция «О любви и дружбе». Сознание тянулось к знаниям, а тема показалась многообещающей. Ну как же? Глубокие психологические явления — любовь и дружба. Пошел я на эту лекцию. О чем же долдонил лектор на протяжении полутора часов? Дружба Маркса и Энгельса, Герцена и Огарева, Ленина и Сталина. Любовь Ленина и Крупской... Так я понял, что самые глубокие, интересные, духовные вещи легко превращаются в плоские, пошлые, скучные.

* * *

В Сухуми посетили (наша писательская делегация) музей Дмитрия Гулиа. Основоположник и классик абхазской литературы. Сталин считал, что у каждого народа должен быть свой классик. И вот пропаганда создавала Джамбула, Сулеймана Стальского, Гамзата Цадаса, Самеда Вургуна, Мирзо Турсун-заде и т. д. Я не хочу тем самым обидеть народы, которых олицетворяли эти классики, народы с древней и богатой культурой, но «классики» очень часто были, вот именно, раздуты пропагандой, и теперь их перечитывать невозможно. Ну, кто будет теперь читать Джамбула?

И вот мы в музее Дмитрия Гулиа. Нам показали одну из его книг. Оригинальная книга. Одно стихотворение Гулиа о партии на всех языках народов Советского Союза. Я, конечно, сразу нашел перевод этого стихотворения на русский (перевод Марка Соболя). Читаю. Последняя строка стихотворения: «Без партии нет жизни на земле!» Так-таки вот и нет никакой жизни на земле без нашей партии. Спрашиваю у Ивана Тарбы: «Может, по-абхазски эта строка звучит иначе? Может, это переводчик упростил и огрубил строку?» Тарба помялся и отвечает, что нет, что и по-абхазски у строки тот же смысл.

А ведь, казалось, эта строка в свое время — в порядке вещей. Даже вот издали стихотворение отдельной книгой.

* * *

Когда Лермонтову было 16 лет, он некоторое время (летом) жил в Середникове, подмосковном имении бабушкиного брата. По соседству были другие имения, а там — молодежь, девицы одного возраста с юным поэтом. Но они уже чувствовали себя невестами, а в Лермонтове видели мальчишку.

Встречались по нескольку раз в день: прогулки, кавалькады, пикники. Лермонтов влюбился в Катю Сушкову.

Однажды надумали совершить паломничество к Троице-Сергию. Шли пешком и пришли в Сергиев посад на четвертый день.

На паперти (или в воротах монастыря?) стоял слепой нищий. Вообще-то камень вместо хлеба — это библейский мотив, наслоилось и снисходительно-насмешливое отношение Кати Сушковой к пылкому и самолюбивому юноше. Так или иначе при виде слепого нищего в душе у Лермонтова родился замысел стихотворения, которое тотчас же и было записано.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку...

Да, стихотворение возникло при виде слепого нищего под влиянием любви: камень вместо хлеба. Но я все же не верю, чтобы кто-нибудь в русском монастыре у Троице-Сергия мог в то время на самом деле положить нищему в руку камень вместо хлеба. Быть этого не могло, не в духе, не в атмосфере это тогдашней российской жизни.

...В Середникове теперь (в 20 километрах от Москвы) лечебница для алкоголиков и мерзость запустения.

* * *

Ученые-исследователи установили замечательную особенность насекомых, птиц, животных, живущих большими сообществами. Ну там муравьи, термиты, пчелы, птичьи стаи, стада сайгаков, полчища саранчи, полчища крыс, леммингов (полярных мышей) и т. д. и т. п. Оказывается, при небольшом количестве отдельные экземпляры того или иного вида ведут себя как индивидуальные особи, полагаясь на самих себя,

и если речь идет о таких существах, как муравьи или пчелы, то отдельные муравьи или пчелы, без семьи, без сообщества, просто гибнут, осознавая, может быть, всю никчемность и бесперспективность своего существования.

Птицы не гибнут даже и при индивидуальном существовании, но когда они собираются в большую стаю, когда возникает так называемая критическая масса (вернее, когда масса становится выше критической точки), вдруг стая превращается в сверхорганизм и обретает сверхразум, или «большой разум», как его называют по-научному.

Плывет многочисленная стая маленьких рыбок. Вдруг они мгновенно, все сразу, одновременно меняют направление. Не следуя за вожаком, если бы таковой был, но все одновременно и мгновенно, подчиняясь общему импульсу. Точно так же меняет направление стая перелетных птиц (жаворонков, перепелок) или скопище саранчи. Не следуя примеру, не последовательно одна за другой, но одновременно и мгновенно, то есть ведут себя как единое целое.

Если же уменьшать количество особей в стае, то в определенный момент, ниже критической массы стаи (стáда, термитника), «большой разум» исчезает и остатки стаи (стада, термитника) превращаются в беспомощных, обреченных на вымирание особей.

Бесспорно, этот «большой разум» возникает выше критической массы и у людей, когда люди вместо многочисленного скопища начинают ощущать себя единым целым, народом с едиными идеалами, едиными духовными, культурными, историческими ценностями, едиными историческими целями и устремлениями. То есть, вот именно, становятся НАРОДОМ. Но это значит, что, доведя людей до точки ниже критической массы, можно погасить этот «большой разум». Тогда вместо единого организма люди распадаются на беспомощных, растерянных индивидуумов, бездельников, жуликов, алкоголиков, лишенных элементарной духовности. Не на это ли и был направлен чудовищный террор всех послеоктябрьских лет и десятилетий, унесший, как говорят, не считая войны, близко к 70 миллионам россиян.

Недаром во всех теориях геноцида фигурирует словечко «биомасса».

* * *

Грузины мне рассказали. Великий князь Михаил, брат последнего российского государя, уезжал из Тифлиса по Военно-Грузинской дороге. Он остановился в духане перекусить, выпить вина. Духанщик принял его очень радушно, накормил очень вкусно.

— Я брат царя, проси у меня, в чем нуждаешься? Я все для тебя сделаю.

— Мне ничего не нужно, — ответил сообразительный духанщик. — Сделайте для меня одно: когда приедете в Петербург, пришлите мне телеграмму: «Доехал благополучно. Великий князь Михаил».

Говорят, эта телеграмма висела у духанщика за стеклом к удивлению всех посетителей.

* * *

«Жили-были дед да баба, была у них курочка ряба. Снесла она им яичко, не простое, а золотое...»

Еще бы не золотое! Во-первых, для деда и бабы яичко само по себе было уже ценностью, кроме того, яичко-то небось было без гормонов, пестицидов и этой, как ее, «сальмонеллы». Натуральное, не на комбикормах, не на тухлой рыбе, но на самой курицей найденных зернышках в травках, душистое, чистое было яичко.

Конечно, куры, равно как и куриные яйца, нужны. Прокормить современное человечество не просто. Однако птицефабрики производят

жуткое впечатление. Мы уж не берем низкий уровень и антисанитарию советских фабрик. Например, от птицефабрики, мимо которой приходится мне проезжать во Владимирской области, воняет за полкилометра, воняет до отвращения, до рвотных спазм, а каково же дышать там, на самой фабрике? Но мы берем даже не это. Пусть фабрика (где-нибудь в Венгрии, в Голландии) сверкает чистотой, прекрасно вентилируется. Возможно, и кондишены поддерживают постоянную температуру. И все-таки жутко. Инкубаторы из яиц выводят цыплят. Эти цыплята растут, откармливаются, убиваются внутри фабрики. Конвейер жизни. Но какой жизни? Они не ступают на землю, не видят травы, неба. Весь жизненный цикл проходит при искусственном электрическом свете, при искусственном корме, подогреве, в пределах даже и не цеха, а клетки.

Где горластые петухи, оравшие по всем деревням, где их призывный гогот, когда петух найдет особенное какое-нибудь зерно и сзывает весь свой «гарем»? Где это брылянье куриными лапами в стороны в поисках корма, излюбленные куриные купанья в горячей пыли? Где приметы: если куры прячутся от дождя под деревья и разные укрытия, значит, дождь прекратится скоро, если куры и в дождь пасутся по зеленым лужайкам села, значит — ненастье? Петушиные драки за какие-то там их петушиные амбиции, а то вдруг бросился, догнал, «потоптал», и как ни в чем не бывало отряхнется курица после петуха. А уж кудахчет курица, снеся яйцо, как будто действительно — по французскому остроумию — снесла планету. Вспомним и песенку: «Петя, петя, петушок, золотой гребешок, масляна головушка, шелкова бородушка...»

А еще, бывало, заберешься в малинник, раздвинешь кусты, и вдруг — клад. В ямке два десятка сверкающих белизной (среди черной-то земли) яиц. Это курица-«диссидентка» несла тайком яйца в кустах, чтобы тайком же вывести цыплят. А потом и приведет их штук пятнадцать к хозяйке. Ведь есть в доме яйца, но найдешь такой клад и обомрешь от радости.

И вот куриные фабрики. Вещь необходимая, но все же жуткая. Не модель ли это, к тому же, будущих трудовых армий, по сравнению с которыми трудовые армии тридцатых годов (лагеря) покажутся идиллией.

Далеко ушло человечество от бытовой картинки, запечатленной в сказочке: «Жили-были дед да баба, была у них курочка ряба. Снесла она им яичко, не простое, а золотое...».

* * *

Вычитал в газете, но как такой «камешек» не положить в копилку? Школьник спас девочку из воды. На уроке стали разбирать этот его героический поступок. Учительница спрашивала учеников: каким должен быть мальчик для совершения такого поступка? Школьники отвечали: храбрым, сильным, добрым, хорошим товарищем, рыцарем, интернационалистом, любить родину, гуманным, настоящим пионером, верным ленинцем...

Когда дошла очередь до виновника разговора, то есть до самого мальчика, спасшего утопающую, он скромно ответил: надо уметь плавать.

* * *

Разговор (в ЦДЛ):

— Ты думаешь, почему мы выиграли гражданскую войну?

— То есть как? Насколько я знаю, мы ее проиграли.

* * *

Вспоминаю строки журналиста Мих. Кольцова, написанные им в 1927 году, то есть к десятилетию Октября (цитирую по памяти, но

более или менее точно): «Десять лет мы догоняем и обгоняем грязную вонючую старуху с седыми космами, дореволюционную Россию...»

Нет, у России было лицо не грязной старухи с седыми космами. У нее было лицо Достоевского, Чехова, Толстого, Бунина, Шаляпина, Блока, Гумилева, Есенина, Анны Ахматовой. У нее было лицо нестеровской «Девушки в амазонке».

* * *

Разговаривали о екатеринбургском злодеянии. Я говорю:

— Русская армия вошла в Екатеринбург через два дня после убийства царской семьи.

Один из собеседников зло встрепенулся:

— Какая русская? Почему русская?

— А какая же? Китайская, что ли? Или немецкая? Русская.

* * *

Расхожей стала строка Грибоедова: «И дым отечества нам сладок и приятен». Как только не употребляют эту строку: и вставляют в свои стихи, и делают эпиграфом к поэтическим произведениям, не говоря уж про разговорную речь.

Но, как мне кажется, при употреблении в этой фразе исчезает оттенок, который был вложен Грибоедовым. Он ведь не хотел сказать, что дым как таковой и сладок и приятен. А дымок, действительно, может быть душистым и даже приятным. Дымок от спаленной жнивы, дымок, когда жгут прошлогодние картофельные плети, и т. д. Грибоедов взял дым — как горечь, как в некотором роде олицетворение горечи. Смысл этой фразы в расшифрованном виде звучит для меня так: «Горек дым, но если это дым отечества, то даже он сладок и приятен. Уж на что горек дым, но и он сладок и приятен, если это дым отечества».

При беглом прочтении фразы, если не сделать сильного ударения на слове «дым», этот смысл ускользает.

* * *

Это что же такое происходит с нашей страной, с нашей отечественной культурой?! Читаю в газете статью Евграфа Кончина под названием «Незабываемый бал Пушкина».

«В Старице (Тверской губернии. — **В. С.**) Пушкин провел три новогодних дня, беззаботных, бесшабашных, проказливых и суматошных три дня. Пожалуй, никогда ему не было столь легко и безоглядно весело, как в этот новогодний праздник. Он без устали танцевал, шутил, заразительно смеялся, был для всех мил, приятен и добр, проказничал... вписывая в девичьи альбомы шаловливые изящные экспромты. Три дня дом купца Филиппова был в центре взволнованного внимания всего уезда».

Как известно, в России произошел катаклизм, и отечественная культура, собственно русская культура была разорена, уничтожена, оказалась в забвении и забросе на целые долгие десятилетия. Берем из статьи три разных периода, показывающих, что небрежение было постоянным.

«В 1919 году старицкий художник Александр Александрович Клодт, человек большой культуры и широкой образованности, организует в городе музей, куда свозит из окрестных имений и усадеб, спасая от неминуемой гибели и расхищения, историко-художественные ценности, архивы и книги. В том числе из Малинников, Павловского, Бернова. (Все это «пушкинские» места. — **В. С.**) Вывезены были портреты пушкинского приятеля А. Н. Вульфа, других представителей этого семейства, так-

же посуда, мебель. Книги, рукописи, три книги журнала «Современник», принадлежавшие, по преданию, Пушкину, номера альманаха «Северные цветы» с напечатанными в них стихами великого поэта, письма Вульфов...»

Значит, с 1919 годом все ясно, пойдем дальше.

«В начале тридцатых годов местный учитель, страстный краевед Дмитрий Александрович Цветков просматривал в музее книги, разные бумаги. Из груды давно никого не привлекавших внимания книг он неожиданно извлек старинный, типичный «уездной барышни альбом», в переплете темно-голубого цвета с бронзовой застежкой. И отложил бы его в сторону, если бы... Если бы из него не торчала записка. Развернул ее Дмитрий Александрович — почерк Клодта. А сообщал он о том, что альбом принадлежал Марии Васильевне Борисовой и что в нем есть важные пушкинские автографы... Цветков стал лихорадочно перелистывать альбом и действительно на странице пятой увидел четверостишие, под которым стояла подпись: «15 ноября 1828 года. Павловское. А. Пушкин». Рядом набросок женской головки... Здесь же он нашел листок плотной розоватой бумаги со стихотворением, подписанным: «28 ноября 1828 года. Малинники. А. Пушкин».

С началом тридцатых годов тоже ясно. Бумаги и книги свалены в кучу, не привлекают ничьего внимания. И только случайно, копаясь в залежах никому не нужных книг и бумаг, Цветков обнаружил жемчужину. Перенесемся еще на десяток лет.

«Вскоре Цветкова взяли в армию, затем — война, тяжелая контузия. Когда он вернулся в Старицу, то музея не застал, он перестал существовать».

Ну а как сейчас, в наши дни? Речь пойдет о доме, в котором Пушкин провел памятные новогодние дни.

«...Сейчас в этом доме по улице Ленина, 18 (!), разместилась библиотека. Но, простите, в каком ужасном состоянии я его увидел! Грязные, обшарпанные стены облупились и потрескались, штукатурка обвалилась. Мне удалось побывать и внутри дома, осмотреть его помещения, прежде всего зал, где в новогодние дни 1829 года устраивались балы и где бывал Пушкин. Ныне в нем книгохранилище. Оно имеет такой же неприглядный вид. Здание необходимо срочно и капитально ремонтировать. Не только как памятник архитектуры, как памятник Отечества нашего, освященный пребыванием здесь великого российского поэта, но просто (хотя бы) как библиотеку, «храм» культуры и просвещения города».

Вот так относится государство, возникшее на месте России, к культурному наследию, относится одинаково, как видим, на протяжении многих десятилетий.

* * *

Гримаса централизации. До чего же мы дожили!

Я в гостях у первого секретаря обкома одной из среднероссийских областей, то есть у главного руководителя области, вроде бывалошнего губернатора. В разговоре коснулись льна. Ведь это была одна из самых льняных губерний. Вот я и спросил, продолжают ли они выращивать лен.

— Как же! Мы сеем много льна, — и секретарь назвал мне количество гектаров, занятых под эту уникальную, красивую, многосторонне полезную — от холстов и вообще льняных тканей до великолепного масла и жмыха — культуру.

Принимали нас, москвичей, радушно, и я осмелился попросить у хозяина области:

— Если вы так много сеете льна, то нельзя ли — одну бутылку льняного масла? Дело в том, что это — мое детство. Я вырос на льняном

масле. А теперь вот хоть бы вспомнить вкус... Забыл, какое оно на вкус...

Мрачное облако набежало на лицо хозяина области.

— Масла не обещаю. У нас нет в области своей маслобойки. Все семя (льняное зерно называют в народе семенем) мы отправляем на маслокомбинат в другую область, и оно к нам уже не возвращается...

Ведь это надо же! Можно ли вообразить, что так же вот писатель в гостях у губернатора — и он своему гостю не смог бы достать бутылку льняного масла! На всю область, выращивающую лен, — ни одной бутылки льняного масла! Вот это — централизация! И в какую же прорву, в какую «черную дыру» все девается?!

* * *

Все мы знали деда Мазая и то, как он спасал зайцев, застигнутых половодьем. Но вот женщина в своих воспоминаниях рассказывает, как охотился ее муж. Была осень, пора, предшествующая ледоставу. По реке шла шуга — ледяное крошево, готовое вот-вот превратиться в броню. На маленьком островке спасались застигнутые ледоставом зайцы. Охотник, о котором вспоминает женщина, сумел добраться в лодке до островка и прикладом ружья набил столько зайцев, что лодка осела под тяжестью тушек. Женщина рассказывает об охотничьем подвиге своего мужа с завидным благодушием. Способность испытывать охотничье удовлетворение от убийства попавших в естественную западню зверьков ее нисколько не удивила.

Женщина эта Н. К. Крупская, а дело происходило в Шушенском; читайте ее «Воспоминания», изданные в Москве в Госиздате в 1932—1934 годах.

* * *

В анкете одного литературоведческого журнала встретился вопрос: «Судьба кого из русских поэтов представляется вам наиболее трагической?»

Можно ответить — Рылеева. Как-никак казнен через повешение.

Напрашиваются сразу Пушкин и Лермонтов, ибо они убиты молодыми: 37 и 27 лет.

Но я бы назвал Есенина.

Рылеев повешен. Но он был революционер-экстремист. А революционер должен знать, на что он идет.

Умирающий Пушкин знал, что вокруг него остается Россия с ее неистребленным народом. На смертном одре он общался при помощи записок с российским самодержцем.

Лермонтов умер мгновенно, не осознав, что умирает.

Есенину же на долю досталось увидеть, как Россия гибнет. С рубежа 25-го года он мог уже предвидеть и гибель деревни, и гибель народа, сыном которого он был. Поистине трагическая судьба!

* * *

Все время ходили смутные слухи, что Фанни Каплан, стрелявшую в Ленина, не расстреляли, что ей (неизвестно уж зачем и по чьему распоряжению) сохранили жизнь. Эти слухи окрепли во времена Хрущева, когда говорить стали чуть-чуть побольше и повольнее. Уточнялось даже, что Каплан сидит в Бутырской тюрьме или даже что она под чужим именем благоденствует в Швейцарии. Эти слухи были настолько упорными, что бывший комендант Кремля (и еще более бывший матрос) Мальков в своих воспоминаниях вынужден был полемически и твердо заявить, что он лично расстрелял эсерку Каплан.

А в «Огоньке» (1989, № 30) в статье Ю. Давыдова проскользнуло дополнительное сведение. Цитируем: «...труп Фанни Каплан, облитый

бензином, жарко пылал в железной бочке, стоявшей в сумрачном углу Александровского сада. Кремацию организовал матрос, комендант Кремля П. Д. Мальков. Пособлял ему случившийся рядом пролетарский стихотворец Демьян Бедный...»

Я не знаю, откуда эти подробности у Ю. Давыдова, рисующие странную, я бы даже сказал, фантастическую картину уничтожения Каплан.

Александровский сад находится не внутри Кремля, а примыкает к нему со стороны Манежа. Жечь в этом саду что-либо — это все равно что жечь на московской улице. И как при такой акции (без оцепленья, без часовых?) мог «случиться рядом» (мимо шел, что ли, да завернул на огонек?) Демьян Бедный? Если же в этих сведениях Александровский сад перепутан с Тайницким, который находится внутри Кремля и где действительно мог бы найтись «сумрачный угол», то опять-таки что за фантазия тащить Каплан в Кремль, когда в пяти минутах езды работает день и ночь чудовищная, огромная всероссийская машина по переработке человеческого материала?

Как ни покажется странным, этот столь сложный путь уничтожения Каплан и утвердил меня в мысли, что, пожалуй, ее действительно не расстреляли.

В самом деле, на Лубянке еженощно убивались тогда сотни и тысячи людей. Для этого есть специальные исполнители. Поток мертвецов обилен и бесконечен. Чего же легче было хлопнуть и Фанни Каплан? Разве кто-нибудь усомнился бы, что она расстреляна? Ведь никто не сомневается, что расстреляны Гумилев, Николаев, убивший Кирова, Зиновьев, Каменев, Якир, Бухарин, Тухачевский, и т. д. и т. д.

Зачем же понадобилось втягивать в это дело коменданта Кремля (генеральская должность), зачем понадобилась эта нелепая бочка? Зачем понадобился «пролетарский стихотворец» Демьян Бедный? Уж не для того ли, чтобы обзавестись несомненными свидетелями: да, Каплан расстреляли. Замысел этот, насчет свидетелей, как видим, в конце концов сработал. Мальков написал воспоминания, а Ю. Давыдов обогатил их дополнительными подробностями.

Конечно, Мальков по приказу свыше застрелил какую-то женщину и труп ее сжег в железной бочке. И был уверен, что это Каплан. Но это была не обязательно Каплан. Комендант Кремля определенно не знал Каплан в лицо. Присутствие Демьяна Бедного мне кажется если не фантастичным, то сомнительным. Но вообще-то его присутствие, если оно было, не могло быть случайным и только подтверждает версию о желательности свидетелей. Демьян Бедный тоже наверняка не знал Каплан в лицо. До стрельбы по Ленину ее никто не знал ни в лицо, ни по имени. Это была одна из многих, безвестная эсерка. А после выстрелов ее сразу арестовали. Ведь ее портреты, надеюсь, не расклеивались по Москве и не публиковались в газетах. Ну а подобрать подходящий «типаж» на Лубянке в то время, я полагаю, не составляло труда.

* * *

В Москве, на выставке японской техники (вся эта электроника, магнитофоны, фотоаппараты, телевизоры, компьютеры, автомобили, станки, медицинское оборудование и т. д. и т. п.), один москвич обратился к японскому представителю с вопросом:

— Ну, и на сколько же лет или десятилетий, по-вашему, мы отстали от Японии по всем этим видам техники?

Японец на мгновение задумался, как бы осмысливая вопрос, и убежденно ответил:

— Навсегда.

* * *

В последние годы распространился в гангстерских кинофильмах сюжет о заложниках. Когда хотят, чтобы судья, следователь, прокурор,

комиссар полиции, какой-либо политический деятель замолчал, или перестал действовать, или начал действовать в противоположном направлении, отказался от своих убеждений, похищают его ребенка или жену. Но все-таки чаще всего ребенка. Это — заложник. Не откажешься от своих убеждений (от своей деятельности) — ребенок будет убит, замучен. И все, смотря такие фильмы (читая романы), исполнены негодования к гангстерам, справедливо считают их убийцами, кровожадными чудовищами, одним словом, преступниками.

Но ведь система заложников возникла и широко действовала по приказам Троцкого (во всяком случае при нем) на территории нашей страны. Хватали семью русского офицера, а то и генерала. Если не пойдешь воевать на стороне красных — уничтожим семью. Если уйдешь в Добровольческую (белую) армию — уничтожим семью. Заложничеством терроризировали целые города. Хватали несколько десятков (сотен) заложников. Если вздумает город сопротивляться новому режиму — уничтожим заложников. И действительно уничтожали их сотнями, тысячами.

Я это вспомнил к тому, что по странности ни в один кинофильм о тех временах (ни в роман, ни хотя бы в рассказ) не просочилось ничего о заложничестве. И тех, кто осуществлял это заложничество, почитают героями, а не преступниками.

* * *

Никак не можем примириться с мыслью, что России (Российской империи, если хотите) уже нет и никогда не будет.

Была Эллада. Но разве можно сказать, что современные греки — это эллины? Был Рим. Но разве можно сказать, что современные итальянцы — это римляне? Просто современные греки и итальянцы давно привыкли к тому, что они не эллины и не римляне, а мы никак не можем привыкнуть (за недавностью происходящих событий), что мы — не русские.

* * *

Существует нелепая идея всеобщего, универсального языка эсперанто. Этот искусственный язык создал в прошлом веке польский врач-окулист Людвик (по другим источникам, Лазар) Заменгоф. В нем сто тысяч слов. В каждой стране есть приверженцы, энтузиасты этого языка, клубы эсперанто, распространители эсперанто. Они уверены, что со временем эсперанто станет всеобщим языком человечества и заменит все живые языки.

Нелепой же я эту идею назвал вот почему. Чтобы язык эсперанто стал всеобщим, нужно, чтобы ВСЕ люди им овладели. 100 000 слов. Но зачем в таком случае ВСЕМ изучать искусственный, мертвый язык? Не проще ли договориться изучить ВСЕМ какой-нибудь один живой язык? Скажем, тот же английский? Все равно ведь надо изучать и запоминать сто тысяч слов.

* * *

Некрасовская строфа:

Стой, ямщик, жара несносная,
Дальше ехать не могу.
Вишь, пора-то — сенокосная,
Вся деревня на лугу.

Где же это происходило? На нашей российской земле или на другой планете? И можно ли теперь вообразить такую картину: сенокос (как праздник), и вся деревня, дружно, весело (хоть и нелегкая работа) в разноцветных одеждах (рубахи, сарафаны, платки) на зеленом,

еще не истерзанном, еще не заросшем кустарником, еще не «започкованном» лугу? И что же сделали с нашей землей, с нашим народом, с нашими сенокосами?

* * *

Читаем в «Правде» 29 декабря 1989 года:

«Осквернен памятник

Берлин. 28. (ТАСС). Известный всему миру памятник советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке подвергли осквернению. В ночь на четверг преступники намалевали краской антисоветские лозунги на цоколе памятника... уголовная полиция ведет поиск участников безобразной выходки».

Читаем в той же «Правде» 3 января 1990 года:

«Снова акт вандализма

Берлин. 2. (ТАСС). Как сообщило агентство АДН, в новогоднюю ночь бесчинствующие молодчики повредили многие могилы советского пантеона в городе Гера... преступники сбили советские звезды на 34 надгробных плитах, а пять других перевернули...»

Итак, найдены точные слова: «осквернение», «преступники», «безобразная выходка», «бесчинствующие молодчики», «акт вандализма»...

А у нас не просто намалевали на цоколе лозунги,—взорвали памятник Отечественной войне, Бородинскому сражению, разорили могилу Багратиона. Неужели только из-за того, что сбиты не звезды, а золотые кресты и купола и что осквернена память не советских, а российских воинов (русских, грузин, калмыков...), мы не осмеливаемся назвать содеянное в 1931 году своим именем: осквернение, поругание, акт вандализма...

Кстати, точно сосчитаны сбитые вандалами звезды на могилах («вандалами» оказались школьники девятого класса) — 34 звезды. Но кто сосчитает количество крестов на сотнях тысяч разрушенных храмов, а также крестов и надгробий на сотнях кладбищ, начисто стертых с лица земли?

* * *

Помню, в детстве, в школе заставляли нас учить стишок Павло Тычины на украинском языке (привожу в русской транскрипции):

На майдане коло церкви
Революция идé.
— Хай чабан, — уси шукнýли, —
За атáмана будé.

И не пришло в голову ни самому Тычине, ни нашим учителям, ни нам, мальчишкам, тем более, что, может быть, чабан вовсе и не умеет быть атаманом. То есть даже наверняка не умеет. Атаманом быть — не коров пасти. Что в общем-то и доказали последующие десятилетия, заведшие наше государство в экономический, социальный, демографический, правовой, национальный тупик и прочие тупики.

* * *

В Москве в 1921 году насчитывалось 200 000 пустых квартир. Спрашивается, во-первых, куда подевались их жители? А ведь тогда «коммуналок» не было. В каждой квартире жила одна благополучная интеллигентная (ну, там — врачи, адвокаты, директора и преподаватели гимназий, работники банков, страховых агентств, художники, писатели, артисты, государственные чиновники разного ранга)... Спрашивается, во-вторых, кто поселился в этих двухстах тысячах квартир, превратив их, как правило, в «коммуналки»? Заняли эти квартиры главным образом не москвичи, «жители фабричных окраин», но люди, нахлынувшие с периферии, с южной периферии. Можно ли вообразить, как после этого переродилась Москва, атмосфера Москвы, само, что называется, «общество»? Строго говоря, общество как таковое, исконно русское, исконно московское общество, перестало существовать.

Нельзя удержаться и не вспомнить описание московской квартиры, некогда служившей одной семье, а теперь превращенной в «коммуналку». Описание это взято из удивительнейшего романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

«...Открыла Ивану дверь какая-то девочка лет пяти и, ни о чем не справляясь у пришедшего, немедленно куда-то ушла.

В громадной, до крайности запущенной передней, слабо освещенной малюсенькой угольной лампочкой под высоким, черным от грязи потолком, на стене висел велосипед без шин, стоял громадный ларь, обитый железом, а на полке над вешалкой лежала зимняя шапка, и длинные ее уши свешивались вниз. За одной из дверей гулкий мужской голос в радиоаппарате сердито кричал что-то стихами... В коридоре было темно. Потыкавшись в стены, Иван увидел слабенькую полоску света внизу под дверью, нашарил ручку и несильно рванул ее... на Ивана пахнуло влажным теплом, и при свете углей, тлеющих в колонке, он разглядел большие корыта, висящие на стене, и ванну, всю в черных страшных пятнах от сбитой эмали... (на кухне) никого не оказалось, и на плите в полумраке стояло безмолвно около десятка потухших примусов. Один лунный луч, просочившись сквозь пыльное, годами не вытираемое окно, скупо освещал тот угол, где в пыли и паутине висела забытая икона, из-за киота которой высовывались концы двух венчальных свечей...»

Такой вот быт — вместо просторных, чистых квартир, с угольным светом ламп или люстр, или канделябров, или торшеров, или настольных ламп с зелеными абажурами. И с коврами, и с дорогими иконами. И с хрусталем. И с гардинами на окнах. И с серебром в буфете. И с фортепьяно. И с золотыми корешками книг. И с отдельными «детскими» комнатами... Напомним, что в 1921 году числилось в Москве двести тысяч пустых квартир.

* * *

Яркая сцена в кинофильме «Чапаев», как полк капелевцев идет в «психическую» атаку и как Анка-пулеметчица из-под куста этот полк в упор расстреливает. Улюлюкаем, ликуем, аплодируем. И не приходит в голову, что Чапаев командовал дивизией, а шел против нее один офицерский русский полк. Приблизительно такое соотношение было и вообще на всех фронтах гражданской войны.

* * *

В каждом демократе сидит, притаившись, диктатор, насильник и беззаконник.

Разговариваю с одним сверхдемократически настроенным демократом. Излагаю ему свою точку зрения на ВЛКСМ.

— Вы только подумайте. В Москве есть ЦК ВЛКСМ. Говорят, там работает не менее тысячи человек. Или даже две тысячи. Кроме того, в Москве есть обком комсомола. Кроме того, в Москве есть горком комсомола. Кроме того, в Москве в каждом районе есть райком комсомола. Кроме того, в каждой области страны есть свой обком комсомола. Кроме того, в каждом городе страны есть свой горком комсомола. Кроме того, в каждом районе страны есть свой райком комсомола. Кроме того, в каждой республике — союзной или автономной — есть свой ЦК комсомола...

Это сколько же бездельников! А то, что они бездельники, — непреложный факт, ибо сам комсомол сейчас никому не нужен: ни молодежи (она, молодежь, живет сама по себе), ни государству, ибо никакого влияния ВЛКСМ на молодежь не оказывает...

— Ну так и распустите эту организацию, — говорит демократ.

— Да, а куда государство денет эти десятки, а то и сотни тысяч

комсомольских работников? Они ведь ничего не умеют делать. У них нет никакой профессии. Они умеют только болтать языком. Да и того, если всерьез, не умеют...

И тут «демократ» неожиданно выпаливает:

— Послать их в деревню. Пусть работают там. Деревня ведь обезлюдела.

— То есть как послать? А если он (она) не хочет ехать в деревню? У них городская квартира, семья, дети учатся в школе. Не хотят они ехать в деревню...

— Послать, заставить...

— А как же быть с демократией? Ведь послать и заставить — это уже насилие. Это уже называется — диктатура.

* * *

В первые годы после революции так замусорили мозги «светлым будущим», что всем казалось: вот оно, «светлое будущее», — рукой подать. Во всяком случае Маяковский в своей пьесе «Клоп» размораживает своего Присыпкина через пятьдесят лет, то есть в 1975 году. Ну какое «светлое будущее» оказалось в 1975 году, мы хорошо знаем. По Маяковскому же выходит, что даже большинство слов двадцать пятого года умерли к этому времени, и когда Зоя Березкина, дожившая до 1975 года, произносит некоторые слова, то профессор то и дело обращается к «Словарю умерших слов». Какие же слова умерли в представлении Маяковского? На букву «с» Маяковский перечисляет: «самоубийство», «самообложение», «самодержавие», «самореклама», «самоуплотнение»... На букву «б»: «бюрократизм», «богоискательство», «бублики», «богема», «Булгаков»... Ни одного попадания. Главный же курьез состоит в том, что Булгаков теперь едва ли не самый читаемый писатель, чего никак нельзя сказать про самого Маяковского.

* * *

В колхозах и совхозах состоят на должности свекловоды, луговоды, полеводы, зоотехники, садоводы, картофелеводы... А ведь все это соединял в себе один крестьянин. Ну, конечно, был агроном — один на целый уезд, с ним можно было посоветоваться насчет трехполки, траволполки, насчет чистых паров или введения какой-либо новой культуры... В основном же и в остальном крестьянин все земледельческие задачи на своей земле решал сам.

* * *

В ФРГ есть музей хлеба, кажется, в городе Ульме. Какого хлеба, каких сортов хлеба там только нет! Можно вообразить. Там нет только горького хлеба из чужих рук, когда, несмотря на голод, кусок, как говорится, не лезет в горло.

* * *

В одном из «камешков» я уже писал о том, что в 1985 году меня хотели отовсюду исключать за «Ненаписанные рассказы», тогда существовавшие только в рукописи.

Все же меня не исключили, ограничились строгим выговором. «В Московскую парторганизацию поступили материалы В. Солоухина под названием «Ненаписанные рассказы». Мысли, высказанные в этих рассказах, не совместимы с пребыванием в рядах...» И так далее. Мысли были о том, что надо прекратить позорную войну в Афганистане, надо

освободить народ от стояния в очередях, от сидения на бессмысленных собраниях, где пережевывается пропагандистская жвачка, очистить улицы от лозунгов, позорящих партию (правящая партия не может или, во всяком случае, не должна хвалить сама себя). Мысли были о том, что мы немцев во время войны просто завалили трупами. Они не успевали нас стрелять (известно, что Жуков просил перед каждым наступлением, чтобы соотношение наших бойцов и немцев было десять к одному), ну, было там и еще кое-что.

В 1989 году этот выговор не просто сняли с меня, но отменили, как необоснованный и ошибочный. Хорошо.

На прощанье секретарь райкома сказал:

— Сейчас это просто смешно, за что вам тогда дали выговор.

— Да, но то, что я пишу сейчас, смешным покажется лишь через несколько лет.

* * *

Случайно у одного современного поэта споткнулся о строки:

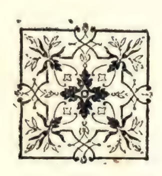
Как важно вовремя уйти,
Уйти, пока ревут трибуны,
И уступить дорогу юным,
Хотя полжизни впереди.

Это надо считать проговоркой поэта. В самом деле, почему — важно, зачем — важно, кому — важно? Конечно, если все дело сводится к личным амбициям, к самолюбию... А вдруг трибуны перестанут реветь, а вдруг перестанут вообще аплодировать, вдруг кому-нибудь аплодисментов достанется больше, чем мне? Тогда — конечно. Но как можно уйти и самоустраниться (а впереди еще — полжизни), когда надо спасать отечество, когда людям надо открывать глаза на правду, когда надо реанимировать души людей и размораживать их мозги? Юные? Да разве юные знают то, что знаю я? Разве они скажут то, что должен сказать я? А рев трибун? Смешно говорить. В говорящих правду, настоящую правду, чаще плюют и бросают в них камни, нежели восторженно ревут на трибунах.

* * *

Компасов может быть миллион, но север на земном шаре один. Пути по компасу у миллиона людей могут быть разными: один пойдет по зеленому лугу, другой по песчаной пустыне, третий по болоту, четвертый по тайге. Но ориентир у них один — север.

То же самое — поэты, писатели, художники. Каждый должен идти своим путем и быть не похожим на других. Но ориентир должен быть общим. По крайней мере для писателей, поэтов, художников одного народа.



СВЕТЛАНА СЫРНЕВА



НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Неизвестною силой на землю гоним,
пролетает в пространстве крутящийся снег,
словно своды небес переполнились им
и устали держать, и ослабли навек.
Небо вечное! Переневолилось ты,
но другого тебе не дано бытия.
И устали, устали столбы и кусты:
не уйти — где поставлены, там и стоят.
Видно, Божьим творениям выбора нет,
есть удел. И устали они до того,
что уже не считают ни дней и ни лет
и не ждут, и не просят уже ничего.

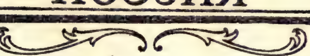
* * *

Выше тепла и жилья,
словно изверившись в нем,
птиц перелетных шлея
зыблется в небе пустом.
Горних струя воздусей
где-то над нами прошла,
и не она ли гусей
в русле своем повлекла?

Поздно проситься в траву:
тяге земной вопреки,
выдержит птиц на плаву
стрежень воздушной реки.
Долго им по небу течь,
плыть без руля и ветрил
мимо встающих навстречь
грозных осенних светил.

СЫРНЕВА Светлана Анатольевна родилась в деревне Русско-Тимкино Кировской области. Окончила Кировский педагогический институт. Работала учительницей в сельской школе, редактором районной газеты. Печаталась в журналах «Новый мир», «Волга», «Литературная учеба», в альманахе «Поэзия», «Литературной газете» и «Литературной России». В Волго-Вятском книжном издательстве вышел сборник ее стихотворений «Ночной грузовик».

ПОЭЗИЯ



ВИКТОР ЛАПШИН



НОВЫЕ СТИХИ

Клена

Кто ты ни есть, кто ты ни будь,
Пусть даже тайно выйдешь в путь,
В тоске иль окрыленно —
Ее ты встретишь невзначай,
Не погнушайся, величай:
«Здорова ль, кока Клена?»

Она и вздрогнет и замрет,
Мелконько перекрестит рот,
Лицо в ладони спрячет,
Сквозь пальцы глянет — и вдогон
Прошепчет горестно: «Не он!..»
Шатнется и заплачет.

Вот так и бродит день-деньской,
Пыль подымаючи клюкой,
От одного — к другому:
«Не он, о Господи, не он!»
И снова слезы, снова стон...
Хоть не ходи из дому.

Кто нужен ей, убогой, кто?
Мелькает бурое пальто
И черная косынка...
Чем я могу тебе помочь? —
Молчком поклонится — и прочь...
Прости нас, сиротинка.

Микула и тать

Семь потов сошло с Микулы,
От зевоты сводит скулы,—
После праведных трудов
Рад крестьянин опочиву...
Потрепал он Сивке гриву,
Лег под куст — и был таков.

Ель над ним ерошит лапу;
От мужичьего ль от храпу
На ракитке — ни листа.
Спит Микула, да томится,—
Старому сон смутный снится,
Одолела маета:

Будто бы он пашню пашет,
И хвостом ретиво машет,
Тяжко фыркает навсхрап:
На груди железны звенья,
Под копытами каменья,
Мочажина да ухаб...

Ох, Микула — конь чубатый!
На него кричит оратай,
Аж в бору от крику гам,—
На кичиги[1] налегает,
Огненным кнутом стегает
Он Микулу по ногам.

С каждым шагом сошка тонет,
Мать-земля рыдает, стонет —
Брызжет кровь из борозды...
Намертво соха угрязла...
Голосит оратай назло:
«Нно! Растак и растуды!»

Тут Микулушка рванулся...
С гулом Божий мир шатнулся,
Гром прошел по всей земле:
Пали города и веси,
Пламень взвился в поднебесье,
Люди корчатся в золе!..

Что за страсть! Очнись, Микула!
Ранняя звезда мигнула,
По меже туман ползет;
Меркнут во поле суслоны,
За́ лесью печальны звоны.
Сердце глухо червь грызет:

Не к добру морока снилась,—
Дома что-нибудь случилось!
...Входит в хату. Так и есть:
Гость в углу пирует красном,—
Он в кафтанишке атласном
И обмотан шелком весь.

Изумрудами расцвечен,
Солнечен, шестиконечен,
Знак сияет на груди.
Гость хозяина встречает
И с поклоном привечает:
«Не стесняйся, проходи!»

Что ж ты топчешься? Присядем!
Живо мы с тобой поладим,—
Ты ж не трутень и не голь!..
Я тебе оставлю Сивку,
Ты же мне пожалуй нивку,—
Землю мне продать изволь!»

У Микулы брови — тучей;
Грянул он: «Ты, гад ползучий!
Я тебя за вислый нос
Ухвачу — и за калитку!
Ну-ка, мать, покличь Микитку:
Татя он привадил, пес!»

Выпил меду тать и крякнул,
И мошной пудовой звякнул —
«Образумиться пора!
Мы же все же с вами люди!»
На столе, в кленовом блюде
Блещет золота гора!

Тут взмолилася Настасья:
«Тятенька, возьми на счастье!
Ты не хочешь — я хочу!
Надо мне — давно уж мнится! —
И хвалынское монисто,
И ромейскую парчу!»

И жена вбежала, молит:
«Дурень, сам себя неволит,
Цельный год хребтину гнет!
Забирай, родимый, злато!
То-то заживем богато!
Нас никто не упрекнет!»

В горенку вступил Микита,
В пол глядит, гудит сердито:
«Я-ста с гостем ухожу:
Он работой не мытарит,
И коня мне даром дарит,—
Свет объезжу, огляжу...»

Вскрикнул в ярости хозяин:
«Ах ты, вражий сын Хазарин!
Спрячь-ка золотце, смутьян!
Слышал голос твой во сне я...
Хороша твоя затея,
Да в уме я и не пьян!

Прочь пошел, иль будет худо!».
Тать схватил поспешно блюдо,
Топнул, взвизгнул — и за дверь!
Скорбь Микулу обуяла —
На своих глядит устало:
«Каково нам жить теперь?»



[1] Кичиги — рукоятки сохи.





АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

РЕВОЛЮЦИЯ

27

Событие на Выборгской стороне поразило Воротынцева не только революционностью своей (такого гнева не ожидал он, и это был лишний довод спешить с переменой метода войны), а: 170-миллионностью существа, называемого «Россия». Кажется, сколько было российской армии на дальнем-дальнем юго-западном плече фронта, какая гуща дивизий, полков, людей, своих событий, горь и надежд,— а вот за другим плечом, за две тысячи вёрст от первого, на северо-востоке Петрограда, кишели свои другие тысячи людей, заводских и запасных, со своими горями и надеждами, и общего не было в опыте и в настроении тех и других, а лишь — принадлежность к необъятной России.

Тем более опыт Воротынцева должен быть сличён и проверен на опыте других. Никто так не всепонятлив и не всеведущ, чтобы взяться действовать за Россию. Очень много ему дал сегодняшний вечер, мысли так и толклись, бродили.

Однако, возвращаясь с Верою на Караванную, нигде не заметили они никакого следа беспорядков или беспокойства. Петроград и сам по себе тоже был ломоть немалый.

Георгий заснул по обыкновению быстро, но необычно проснулся посреди ночи, даже, по ощущению, невдолге: наше спящее тело чем-то измеряет и нам отдаёт, как долго спали мы. Проснулся, испытывая какой-то незапомненный, но блаженственный сон, нет, не сон, а сквозное состояние чего-то хорошего, удачного, до радости. Подобного давно не ощущал он, память большой общей беды давила его и днями и при просыпах, тяжело спал он и дома в Москве, и в поезде,— а сейчас отчего такая очищенность была разлита по телу, с готовностью лучше не спать, а лежать и наслаждаться этим состоянием?

Продолжение. Начало в №№ 1—5 за 1990 год.

Тут в сознание перелилось, хотя он ещё проверял и хитрил: не оттого, что в отпуску, не оттого, что в Петербурге (так он и не полюбил Петербурга), не оттого, что у сестры и няни, хотя и очень родно, и даже не от интересного такого вечера, а: познакомился с Ольдой Андозерской!

Это счастье, что он с ней познакомился, разбирало и овладевало им уже на вечере, но там некогда было углубиться, понять,— да то и казалось интересно и приятно, что он встретил внимание и частью единомыслие такой умной образованной женщины.

Но сейчас радость ударяла в грудь как морской прибой — и подставляясь, и принимая эти плески, он должен был признаться, что не от эрудиции профессора вся эта радость, а — от неё самой. Не от её умных доводов, пусть бы она говорила и глупо, и наоборот,— а от того, *как* она их высказывала и как выглядела при том.

Общий мрак никуда не отступил, даже напротив выявился в восстании запасных,— но почему ж этим вечером Георгий так легчал и веселел? Он потерял и охоту к спору, до того полегчал, что потяжелел, и только способен был смотреть — на достойные плавные повороты маленькой головы, на тонкие мелкие движения бровей, опережающие речь, на властное пожатие маленького рта. Ещё этот милый жест — две кисти зонтиками и поглаживать одной другую.

Кажется, ничего вечером не совершилось, да даже слова прямого сказано не было,— а так много, что не хотелось, невозможно было спать, плески били в грудь! Да соскучился Георгий по самому чувству радости, так давно не испытывал её, забыл, что́ и есть она,— теперь жалко было уснуть и пропустить тёплые часы, светлые в темноте.

Курил. Пытался вернуться к мыслям, слышанным на вечере, обдумывать их — куда там! — опять к ней! Вот не ожидал такую женщину встретить.

И не взялся бы сказать — чем. Никакой писаной красоты, никакой уж такой особенной стройности или пропорциональности. Умно говорила? — так и другие были не глупые. Близкие мысли? — так не во всём, и напротив иногда. Держалась особенно? — не с податливой женской гибкостью, но стерженьком, знающим своё твёрдое место в мире? Или — как она на Георгия взглядывала? В этих взглядах было и понимание, и признание, и даже непрятанное восхищение — и уже от одного того стал Воротынцев чувствовать себя как бы необыкновенным. И содержалось в тех поглядываниях — выразительное как слова, а не произнесенное,— или показалось?

Как бы что-то от неё перетекало и оставалось уже в его обладании.

Померещилось?.. Как это теперь точно знать?

Стало его в постели крутить. Курил. Вдруг вот — понадобилась ему эта женщина! Ещё видеть, ещё говорить? да нет, не для консультации, что уж такое она могла ему сказать? А — понадобилась. А — загорелось.

Странно, но Георгию как-то сравнить было не с чем: правильно ли он понял? А может быть — это только сочувствие политическое к его речи, и можно в такой просак попасть?..

А если, правда, всё это в её глазах *было*—тогда нельзя не продолжить, это слишком необыкновенно!

Но — как?..

И — что тогда будет?..

Крутило, палило — куда там до сна!

И — почему-то она не замужем, сказала Веренька.

Бесцельное, счастливое, полыхающее возбуждение!

Долго лежал Георгий, даже не ища сна.

А утром, прежде чем куда собраться, прежде чем определить и понять приложенье своих сил, так не много времени имея на поиски в

Петрограде,— едва дождался приличного времени для телефона, но первому не Гучкову, а — ей.

Вчера никак не предполагалось — звонить ей на другое же утро. «Вот вам мой номер» — то есть вообще на все эти дни, пока он в Петрограде. А сейчас перед коричневой настенной коробкой аппарата расходился Георгий в двойном волнении: и — что неудобно так быстро, так сразу, и — скорей, пока она не ушла на лекции!

Дома! И нисколько не удивилась. А мелодичный голос её оказался в телефоне и вовсе пением нежным (или так она разговаривала именно с ним?). Телефон как убирал всё, что было в её голосе разговорного и подчёркивал певучее.

— ...Вот и пригодился ваш номер раньше, чем я думал.

— Я очень рада.

Так и затягивало к ней туда, в трубку.

— ...Как-то мы вчера с вами... не договорили. Такое ощущение.

— У меня тоже.

— А так как я в Петербурге буду всего недолго... Вы бы не разрешили увидеть вас ещё?..

— Чудесно. Сегодня вечером и приезжайте. Посмóтрите, как я живу.

Превосходно! Как охотно пригласила сразу.

Но — Гучков?? Но если теперь Гучков и назначит на этот же вечер?

Держал трубку — и боялся: услышать прямо и сразу Гучкова, а тот назначит ему на сегодняшний вечер!

Но к счастью: Александр Иваныч ещё в город не вернулся.

Да пожалуй, Ольду Орестовну и вернее повидать раньше: она так убеждённо говорит обо всём, интересно её доспросить.

А днём пока — сходить ещё по делам и поручениям, в министерство и в Главный Штаб.

Сколько же, сколько тут сидело полковников и генералов, и как уверенно судили обо всём, ничего не видав. Когда-то в молодости задорился на таких Воротынцев, теперь отсердился: сами места рождают таких себе и людей.

А весь день внутри — упрятанная своя, как в шелковистом коконе, никому не открытая радость: вечером — к ней! вечером — к ней! И даже: как он мог ехать в Петербург, не предчувствуя подобной встречи?..

Ещё ему надо было в Общество ревнителей военных знаний, там в журнале будут статью его печатать,— но это уже не успевается, завтра.

Извозчик для офицера, да ещё старшего, всегда несётся изо всех, не спрашивая, нужно ли ему так скоро. Но сейчас и самому — приятно мчаться. И опять, как вчера, и не так, как вчера: вольный длинный Троицкий мост, с редкими парами тройных фонарей. От твоей езды обращаются ростральные колонны вокруг Биржи. И башни Петропавловки, и едва различимый в тёмном небе ангел.

На гонком рьяном извозчике — по виду такой уверенный прибородый полковник, в папахе чуть набекрень, победно мчался по сырым осенним мостовым. А внутри уверенности не было, она с утра упала. Была опасность смешать дружелюбие Ольды Орестовны и собственную расположенность с... с...

И снова — Каменноостровский проспект, опять близ Шингарёва. Да, днём и думать забыл: революции — так ведь и нет в Петрограде, революция никакая не случилась. Нарядный проспект — к увеселеньям островов. Круглая площадь около Ружейной, говорят: её вид — вполне скандинавский.

Можно — никакого шага не делать, тогда и не ошибёшься. Но — уже раскалился, а дни — утекают меж пальцев. Такие встречи бывают в жизни — раз? два? Или вообще не бывают.

Чёрно-белый причудливый, с башенками, дом на углу Архиерей-

ской, во время Воротынцева, кажется, его не было. Как модно строятся здесь, не похоже на классический Петербург.

Если днём и видны — хвосты, недостатки, то к вечеру всё украшено электричеством, кинематографы, кафе, витрины — с фруктами, цветами.

Но сегодня это уже не раздражало его, как вчера.

Соскочить. Букет фиолетовых астр. Дальше погнал.

Спортинг-палас. Дом эмира Бухарского. Силин мост.

Но как можно? — к такой уважаемой женщине сделать какой-то прямой грубый шаг — на основании каких-то вчерашних перехваченных взглядов, когда ему померещилось?.. Невозможно, всё перегорожено приличиями, обычаями.

За Карповкой — особняк под итальянскую виллу. Всё гуще деревьев по проспекту. У Лопухинской — тополя. В каком хорошем месте она живёт.

Весело от скачки. Весело, что встретимся сейчас.

Свернули. По Песочной набережной. Справа — искоричнево-чёрная вода Малой Невки, слева — усадьбы, дачи, огни в глубине садов. А вот и скромный серый дом с шероховатыми стенами (тоже мода), над входом — 1914. Сколько же строили перед войной! Где б мы уже были без войны!

Снаружи прост, а внутри — необычный: вместо лестничной клетки — ротонда, и лестница — винтом по стене, а на втором этаже — круговые хоры и уже оттуда квартиры.

И какая же в ногах молодость гимназическая, и какая в сердце лёгкость! Где же та безысходная мрачность стольких месяцев, где та тяжесть, которую еле довёз, еле выгрузил вчера в шингарёвской квартире? Отчего всё так взлетает обновлённо? Чудо.

Как рассказывал вагонный спутник, Фёдор, эта смесь — удивления, радости и боязни: как от женской любви бьёт пламя в лицо. Георгий ему почти не поверил (или позавидовал — бывает же!), а вот — и себе досталось! Било прямо в лицо, не защититься, и защищаться не хочется.

Нежно коснулся податливой костяной пуговки звонка. Едва не зажмурился на открывшуюся дверь, чтоб не ослепнуть.

Она!

Выше вчерашнего? Нет, такая же трогательно маленькая, узкая. Букетом закрыло её всю. Рука без веса, кожа чуть смугла.

Состояние: когда разладилось, и слышишь — не разумеешь, не хватает слуха и внимания совместить, может вспомнишь потом, а то — переспросишь невпопад.

И вот уже — большая комната. Кабинет? Стола — и не видно, под косыми падающими книжными стопами. Бумаги, бумаги. Полки с книгами. Крупная икона святой Ольги — но не в углу наверху, а на стенной плоскости, посередине, без лампады, как и не икона, а картина. А на полочках — во множестве почему-то игрушки, безделушки, крашеные и некрашеные: Иван-Царевич на сером волке, бой со Змеем-Горынычем, золоторогие бараны в людской одежде с кружевами, не успевает охватывать глаз.

А что-то! что-то вчерашнее — не нарушилось, тут! Неуловимо: здесь! Удивительно, ни слова прямого, а — так...

Всего было наставлено и навешано, легче заметить, чего на стенах нет: обычного у всех везде множества фотографий, каждая в своей рамке или десятками в группе. Нетипичная комната. Ещё картина: на ночном лугу сидит какой-то ручьебородый старик с рожками и могучими голыми плечами.

От самого взбега по лестнице как не ухвачены были связные фразы, так и в следующих сбой, и мысли перетревожены, как бывает в ошеломительную боевую минуту, и не успеваешь расставить на места, а говоримое — покатилось, покатилось... Хозяйка и гость ещё не успели

сесть, Воротынцев задержался на провинциальном пейзаже, не по выбору, без смысла: луга от реки и за ними маленький городок. Ольда Орестовна стала объяснять, и это первое, что Воротынцев стал усваивать ясно: то — Макарьев на Унже, где она родилась и выросла, где сосланный отец её, доктор философии Гёттингена, стал уездным предводителем дворянства.

Но сама же прервала своё объяснение, довернулась к нему от макарьевского пейзажа (Воротынцев видел и не видел, он ещё смотрел на пейзаж: если сослан, то как же тогда предводитель?..) — подняла руку, невесомо положила ему на плечо, на край погона, ближе к шее, и звучно, полно сказала:

— Боже, какое счастье, что есть ещё у нас такие люди, как вы!

Сказала не стеснённо, не скороговоркой, не украдкой, но как бы награждая его высоким орденом, на ленте через шею.

Всё дело было в сбое впечатлений, движений и брошенных фраз, такой жест был бы неуместен, если б они тихо, размеренно вошли и чинно сели бы в отдалении: после того кто б это мог встать, подойти и руку класть?

Но само это необычное движение как беззвучный снаряд разорвалось у щеки Воротынцева — и ещё более завихрилось всё, не успевшее объясниться в короткой суматохе входа. Вспыхнув ушами, контуженный, потрясённый, совсем под откос утерявший связь гостиных вежливых мыслей и слов,— Воротынцев однако устоял на ногах и не упустил того единственного, последне-возможного мига рассчитаться с этим уверенным маленьким генералом, наградившим его передо всей Россией,— того мига, когда рука профессора Андозерской уже начала соскальзывать с его плеча, последнего мига, после которого уже была бы грубая невоспитанность, непростительность отвечать ей чем-то таким же, —

а в этот миг он ещё успевал и ничем другим ответить не мог, и не ответить не мог, а перехватил награждавшую руку и соединился губами с её нежной кожей, и дольше, чем церемониально, и горячей, чем церемониально, как погрузился и всплыл. И тут же то же повторил с рукой не награждавшей. Тут в сознанье его вошло, что надо же что-то сказать, приличное моменту, не просто же молча. И сказалось само, кажется:

— Счастье наше— что *вы* есть... Такая, как вы...

Так ли, не так ли, и чьё это *наше,* не прямо же счастье всей России? — но они ещё продолжали друг против друга стоять. А Воротынцев, изъяснясь этой фразой, теперь мог как будто и ещё придержать обе руки этой живой статуэтки, и придержал вполне корыстно. От рук её и от самой её исходил не сильный, но точный в аромате запах.

Дальше границы наградного церемониала обрывались, Воротынцев освободил её руки, и Ольда Орестовна, не покачнувшись, не поалев, лишь чуть поправив волосы и с малой прикровенной улыбкой, повернулась опять в сторону картины, договаривала о Макарьеве.

Вот по этому лугу бродить босиком, когда сойдёт вода и земля согреется... Какие цветы тут растут... Вот здесь проходит городское стадо... Вот здесь бывает ярмарка... (Тут вспомнил: макарьевские сундуки — на всю Россию.) А вот наша гимназия... Либеральный отец, много посвятил преобразованию уезда. Простонародная няня. (Везде — няня! Всех нас сделали простые няни.) А вообще девочка росла такая ко всему допросчивая, что взрослые имели обыкновение много рассказывать ей.

Они уже не смотрели на картину, сидели. Ольда Орестовна как лекцию вела: ровным голосом, связно, последовательно. А Воротынцев так и не оправился ото всех внезапностей поспешных первых минут. Да столько тут проплывало непроизнесенного, что и паркет под ногами утерял свою надёжную горизонтальную опорность. Воротынцев и в кресле не испытывал своей нормальной земной тяжести, и подлокот-

ники были ему не опорой, а держалками, чтобы не взлететь выше кресла. И как с первых минут разорвалась соотнесённость звуков и смысла, так и неслись фразы и мысли несцепленно, не всё дослышивалось, не всё додумывалось, но надо всем плыло уверенно, как пышное белое облако в знойный день: что он — совершенно *согласен* с Ольдой Орестовной, что она права во всём, что говорит: и об атмосфере уездного бойко-торгового городка; и об игрушках глиняных дымковских — вот этих баранах золоторогих и пёстрых утках; и об игрушках богородских — резных из липы крестьянских группах; и троице-сергиевских, ярко раскрашенных; а там о Врубеле, о Скрябине. Он кивал глазам её, внимал распевному голосу и ещё рассматривал, как верхняя губа чуть выкруглена, а нижняя подпухлая. И подпухающее облако восхищения тихо плыло надо всем.

И надо было делать над собой усилие, очнуться, чтоб не обязательно быть согласным и с тем, о чём она будет говорить следующем.

Как вчера у Шингарёва он почувствовал себя остановленным в напряжении и беге, тепло расслабленным к сидению, так тем более и сегодня: куда делся его гимназический взбег по лестнице? отчего в ногах такая сладкая остановленность? Да ведь он, кажется, приехал к ней зачем? — вчерашнее важное, при нём затронутое, ещё дояснить? Но не находил в себе силы спросить, как Ольда Орестовна:

— А как вам Шингарёв?

Воротынцев ответил, что просто сердце раздвигает своей необыкновенной искренностью.

— Но страшно смотреть, как его портит партия. Он — кадетский член трёх Дум, и это не прошло даром, длинная история. Ему приходилось, выступая о терроре, уклоняться от осужденья его.

— Меня поразило, как он вчера сказал о Столыпине.

— О, Столыпин — в его груди заноза. Столыпин для него ещё глубже загадочен, чем он высказал вчера, он мне открывался и больше. Он мучается этой разното́й в понимании истины: что вот всегда по партийной обязанности боролся против Столыпина, а тот старался для тех же самых крестьян, что и Шингарёв. Воевали с ним — а он нам укрепил народное представительство. Обвиняли его, что он нарушил конституцию, а сами при случае готовы нарушить её и не так. Партия — это ужасная вещь.

Всё верно, но наслаждался Воротынцев и её манерой говорить — так тихо, по-женски, но и убеждённо, и убедительно. Владела мыслью, владела словом — и знала это.

— Кадеты поразили меня,— отозвался.— До чего воинственны.

— В кадетскую патриотическую тревогу никогда не верю, она отдаёт игрой. На самом деле недостаток снарядов их окрылил. А вот вы, Георгий Михайлович,— вдруг взгляд её соединил твёрдость и лукавство,— вы ведь к кадетам ближе, чем думаете.

— Я-а-а? — И почувствовал, что глупо краснеет, будто застигнут за неблаговидным. Но он-то твёрдо знал, что нет! — Откуда вы...? Я? — нет!

— Есть, есть,— печально кивала она.

Выдавал Воротынцева предательский румянец. Прямо говоря — она ошиблась, но глубже говоря — заглянула, куда он её не пускал бы.

— Кадетство — это не только партия,— кивала Ольда Орестовна.— Это — резкость и отрава, разлитая по всему русскому воздуху, и мы все ею надышиваемся, даже не замечая. Очень трудно удержаться в убеждениях, совсем отдалённых от кадетства. Вот и вы вчера так легко бросили о республике... У нас это вьётся в головах или рядом, как самое допустимое. А между тем скажите: когда в России существовала республиканская идея? Стала побеждать в Новгороде? — он из-за неё и погиб. Всю Смуту искали — царя, но не республику. Даже и Семибоярщина. Мы совсем не республиканский народ. Идея анархии — та

трогает нас, погром, захват, безвластье,— но не республика же, нет! Да если бы вы пожили в Европе, вы бы поняли: западные государства — на поспешных рычагах, но износливых, их не хватит на опасности трёх веков.

Под её тревожным взглядом Воротынцев не спорил. Да он, собственно... Да он нельзя сказать, чтобы... Но она настаивала:

— Республиканство — это клич к честолюбцам: власть — можно захватить! захватывай! Республика зовёт каждого бороться за свои интересы, но республиканец всегда рискует оказаться в подчинении у своего безжалостного врага. И — когда вы видели, чтоб не управляемая единой волей толпа понимала бы верно свою собственную пользу и куда ей нужно? Во время любого пожара в толпе душатся и губят друг друга. Нужен властный, внятный голос — *один.* Уж вы-то в армии это знаете.

— Да конечно,— усмехнулся Воротынцев.

Всё так. Но почему так горячо она убеждала? Да может — только за тем и звала, а он-то возомнил?..

А она смотрела на него впытчиво-призывно, как будто добуживалась, опасалась, не умер ли:

— И если наши сегодняшние партии да получат власть — то будут они высшую справедливость доискивать? Да им только обеспечить большинство на выборах. Демократическая республика в непросвещённой стране — это самоубийство. Это зов к самым низким вожделениям народа. Наш доверчивый простодушный люд сразу и проголосует за тех, кто громче кричит и больше обещает. И повыбирает всяких проходимцев, да горлопанов-юристов. А положительных кандидатов — в толкучке оттеснят и подавят.

— Да я — просто так выразился,— оправдывался Воротынцев.— Я не имел в виду республику как перспективу.

Но что-то — она верно в нём угадала. Не имел в перспективе, но и — не отказывался.

Её глаза зеленовато попыхивали, и губы так страстно шевелились, как будто она говорила о предмете чувственном.

— И чем гордится демократическая республика? Всеобщим смешением и мнимым равенством. Дать голоса юнцам — и 50-летний мудрый человек имеет столько же прав и влияния, сколько безусый юнец? Тяготение к равенству — примитивный человеческий самообман, и республика его эксплуатирует, требует равного от неравных. И монархия, и армия, и твёрдая школа строятся на разноценности, на лестнице ценностей. И так же — живёт вся природа. И только общество мы хотим перемешать как кашу. Но если все высокие уровни мы срежем, свалим... Всякому высокому качеству надо радоваться и открывать ему государственную дорогу, а не растерзывать его.

А он — не столько слышал, сколько губы её видел в движении — и хотел угадать, узнать их туготу.

Она же — совсем не со вчерашней невозмутимой стройностью, но с приклонённым интересом:

— Нет-нет, Георгий Михайлович, вы, оказывается, захвачены кадетским поветрием. Я вчера ожидала в вас твёрдого союзника, потому и говорить начала,— а вы оказались едва ли не оппонентом? Как же так, ведь все кадровые офицеры — устойчивые монархисты. А вы?..

— Я-а... — не мог не признать Воротынцев,— тут, знаете, более сложный случай... Что значит «захвачен поветрием»? Да, если сознаёшь долг перед народом, то и... Мне, напротив, понравилось, как вы защищали вообще монархию... Но у нас — тот исключительный случай... Оговорка...

— Да, Георгий Михалыч! — у нас тот исключительный случай, что потеряв монархию, мы потеряем и Россию. Как царь ни высоко вознесён — но он народу свой, и куда ближе всех этих думцев. А их я навидалась. Их опыт — совсем не конструктивный, они только и умеют

бурлить в оппозиции, а дай им завтра власть — они страну не поведут. И без царя — они даже не удержатся.

Он — и слушал. Но даже и не слушал, а любовался, всё путалось.

— Для нас утерять монархию — это не структурно-государственная перемена, а изменение всего нравственного строя жизни. И даже художественного рисунка. Хотя быть монархистом — дано не каждому, как не каждый умеет верить, и не каждый умеет любить. Заметьте, человек верующий — всегда скорее монархист, человек безрелигиозный — всегда скорей республиканец. Для республиканца, да, преданность монарху — это околпаченная глупость. А без преданности монархия превращается в видимость.

— Так вот... именно...— трудно выговаривал Воротынцев. Не мог и не хотел он так прямо ей сказать, что монархия превратилась в видимость. Но ведь — именно так.

А она — с тревогой узнавания? неузнавания? задетости:

— Чтобы *иметь* Государя — надо его любить. *Любить* — иначе его нет. И быть готовым служить ему — до конца!

Блестели её глаза, как будто сама она была офицер и готова служить до конца.

Эх, если б это было так просто! А те пустые множественные парады вместо дела? А десятки идиотских, всё губящих назначений на посты? И если при безнадёжной неспособности берёт Верховное Главнокомандование?.. Кто пропустил через себя жертвы этой войны,— тому остаётся предпочесть монарху — Отечество.

Но — не место было это ей говорить, и не лежало сердце. Усмехнулся:

— Ну да, трагедия монархиста: быть только довольным, восхищаться и благодарить. Ни своей мысли, ни своего действия, одна лояльность.

— Нет! Не так! — настаивала Андозерская и поддерживала слова мановеньями маленькой кисти.— Монархист имеет право на свободное слово! на честное возражение! Это — даже священная обязанность его, даже часть присяги! Но каждый подданный в каждую минуту должен посылать Государю луч преданности и поддержки — и в сплетении этих лучей Государь обретает свою силу.

Что ж, красота в этом всём была. Но отвлечённая. Если не знать обыденности и загрязлости сегодняшней войны.

А в общем, вчера и сегодня, Воротынцев только и слышал как будто одни противоречия себе. Это надо было ещё переварить.

Но — не сейчас же.

Сейчас — они к счастью переплыли в столовую, где им подали чай.

Только тут Воротынцев очнулся: да ведь мы же земляки-костромичи! Не так далеко от Макарьева и Застружье, а никогда Георгий не добирался до Унжи. А Костромская губерния — она ведь рубежная в чём-то: как будто именно в ней Средняя Россия переходит в Северную, именно в ней теряется наше плодородие, необильная пышность цветения, необильное тепло,— и на оголённых, холодноватых, но всё ещё не северных увалах просторно удалённые деревни, церковки и мельницы будто веют этой тоской, а дома растут и крепнут под северные, забирая в себя жизнь на больше суровых месяцев. Да и Костромская ведь разная: вверх по Унже — леса, глухомань.

Потом Ольда Орестовна рассказывала о своём преподавании. Не избалована она открыто выражать свои мысли. На Бестужевских курсах за неугоду слушательницам уже пострадали профессора Введенский, Сергеевич. Да что! — студенты десять лет и Ключевскому не могли простить его похвального надгробного слова Александру III. От Пятого-Шестого года курсы поздоровели, много серьёзных курсисток, но они не умеют кричать, спорить. А ещё довольно и «радикально мыслящих», даже прямых эсерок и социал-демократок. Тех, кто хочет победы России, называют «социал-предателями», в студенческой столо-

вой ведутся откровенно пораженческие разговоры. В годы войны студенчество опять накренилось в политику. Устроят «кружок по изучению» — марксизма или французских революций, а на кружках — прямая агитация. Ольда Орестовна только потому и может преподавать, что занимается западным Средневековьем. Но и профессора состав своей коллегии пополняют самоизбранием — и принимают даже самозванцев, без научного ценза, лишь бы угождал вкусу времени.

Воротынцев смирно слушал её ручьистый голос, разглядывая её сбок себя сдвинутым центром мира, не уставая радоваться находке и опасаясь какой-нибудь своей ошибки, от чего всё развеется, как не было.

После чая согласно возникло намерение побродить. Вышли, постояли-посмотрели на тёмную Малую Невку — по ширине куда не малую, на мало огнистый Каменный остров и пошли по набережной налево к ещё более тёмному Крестовскому. Небо было в тёмных тучах, но без дождя. Оказывается, в этом году был ранний густой снег, 6 и 7 октября, и заморозки, и здесь на островах держался зимний вид. А вот опять всё разгрязнилось.

Разгорячённой голове было жарко в папахе, но стали они выходить на открытость — налетел закрутистый ветер с моря, толчками, и всё сильней.

Ольда Орестовна вздрагивала.

— Вам холодно? — обеспокоился он.

Перебрав и вторую руку её в свою, нашёл, что у корней перчаток руки холодные.

— Зато какие тёплые у вас.

— Да, у меня всегда почему-то.

— На фронте это хорошо.

— Не только на фронте.

Кончились последние дома набережной, а дальше — открытый тёмный пустырь в толчках и завихрях холодного сырого ветра — и не было видно впереди границы, где оконечность Аптекарского острова переходила в воду, а потом из воды выдвигался Крестовский.

Вздрагивала.

— Вам холодно!

— Нет, мне весело...

Пошли изрытины. Покинутые позади последние фонари уже почти не досвечивали сюда нисколько, но Ольда Орестовна тут знала места, как видела в темноте, и с крутой малой горки, потягивая спутника за руку, побежала резво.

— Тут — качели должны быть.

Действительно, нащупались грубые маленькие качели, простая доска на проволоках, и уж теперь не так удивился Воротынцев, что Ольда Орестовна захотела качаться на них. Почти без подсадки уселась на доску и крикнула:

— Качайте!

Он начал осторожно, она лихо крикнула:

— Сильней!

И стала взлетать сильней, а боковой охальный ветер толкал её, грозя закрутить или ударить о столб — и Воротынцев кинулся придерживать.

— Отчего ж не качаете?! — ещё лише требовала она.

Но он всю её, с качелями, захватил в руки и сказал:

— Вы, профессор, просто девочка! Девочка Ольженька. Если бы я имел право звать вас по имени, я бы звал вас — Ольженька.

— Вот удивительно! Как меня ни сокращали, а так — никто за всю жизнь. Вы знали такую девочку?

— Нет. Сейчас вот понял.

— Очень мне нравится.

— Так может быть я буду вас так звать?

— Когда никто не будет слышать.

— А такое время будет?

— Как вы захотите.

И он стал её просто целовать, в губы, в губы, которых насмотрелся в этот вечер, всё более запрокидывая, всё более запрокидывая на качельной доске — и шляпка её свалилась, покатилась, а тут ещё ветер.

Вдогонку шляпе, в полном дурмане, Воротынцев побрёл косолапо.

28

Этого никогда не было! — и сравнить было не с чем. Кувырком под гору — главное дело, вторые дела, распорядок суток, обратный билет в Москву, обещанное жене, обещанное сестре — всё потеряно! — и сладко, что потеряно!

Не потеряно — найдено! И — в первый раз.

С утра скорей к телефону, ведь уже несколько часов не виделись. Телефонный голос — неповторимый, такой певучий, несравненный с голосами всех телефонных барышень. И какая значительность в медленно выговариваемых словах:

— Приезжайте пораньше. Чтобы вечер был дольше.

— Как вы спали?

— Я не спала совсем. И нет ощущения, что не спала.

Сам телефонный разговор — услаждает, оторваться от трубки нельзя.

— И как же вы на ногах?

— О, этого не расскажешь...— (Улыбка загадочная, он уже знает её и по тону голоса — видит. Видит и комнату, и телефонный аппарат, как она около него стоит.) — Тела совсем не ощущаю. Его нет. Так легко-о! И ничего в мире не хочется.

За одним бы этим голосом вытянулся по проводу в струнку весь!

— Но — ваши занятия?

— Прекрасно, всё светится. Приезжайте скорей!

А Гучков — уж сегодня наверно дома. А весь остальной Петроград?

Александр Иваныч? Вернулся, да. Но отлучился. К вечеру будет. Что передать?

Что передать?.. Ведь опять столкнётся. Вечер — занят, вечер занят и долгий день.

Хорошо, спасибо, я позвоню ещё.

Пока не позвоню.

Телефонный разговор — томленье, но и маленький отвод огню. А проходит ещё три часа — так накалилось! — надо ехать, надо гнать, гнать на дальний конец Петербургской стороны!

Непогодные серые дни — но какая же распирающая светлость в груди! Ощущение победы — огромной, на больших пространствах, какой врагу уже не отнять.

По тем же проспектам, мимо тех же дворцов, домов, ресторанов и кинематографов, но ещё менее на них сердясь,— не замечая даже погоды,— перенёсся как ковром-самолётом, ехал, не ехал?

У неё. Вместе. Одни.

В её кабинете с окнами на Песочную набережную, на серо-бурую вспухлую Невку и на Каменный остров, где в глубине деревьев, оголённых и с удержанными бурыми и красными листьями, угадывается, а в театральный бинокль и хорошо видно: в петушином стиле деревянная дачка, фантастическая каменная с чёрными башенками, да деревянный Каменноостровский театр.

Мы непременно сходим туда погуляем.

Но гулять — никак не остаётся времени. Ни — на что в Петрограде. Только — на эти две комнаты. Книги, книги — но и их некогда с полки снять, пересмотреть названия, недосуг прочесть одну страницу. Или пе-

ресмотреть все игрушки — этих резных гусар и модниц, конные тройки, Илью Муромца с Соловьём-разбойником, Иону и кита, медведей, свиней и зайцев, кувшинчики обливные со зверьими ручками. И тот голоплечий Пан в полутьме, с бронзовым обломком старой луны на горизонте, не так он стар. И присядка его, ночной взгляд и замысел — много понятней теперь!

А ещё несколько дней назад Георгий не понял бы, не заметил.

То Ольда ставит на граммофоне пластинку со скрипичным концертом какого-то бельгийца — и впивается в руку: слушай, слушай! вот это место!

То рассказывает.

— В двадцатипятилетие смерти Достоевского — изо всей читающей и интеллигентской России, ото всей нашей просвещённой столицы, от нашего гордого студенчества — знаешь, сколько человек пришло на его могилу? Семь! Я там была... Семь человек! Россия пошла за бесами. Даже буквально, через несколько дней после смерти Достоевского — убили Освободителя. Повернула, повалила за бесами... Правда, в этом году, на тридцатипятилетие собралось больше гораздо. Но, думаешь, привлечены его главным? Не-ет. Привлекает, и на Запад уже потянулось: описание душевной порчи, выверта, да ещё как изнутри! Появляется на Достоевского мода. Да ты сам-то его любишь?

Утаить нельзя и сказать неловко. Замялся:

— Да нет, не мой писатель. Очень уж много у него эпилептиков, непропорционально. И конфиденты разные лишние болтаются. И разговоры непомерные, и всё ковыряются. По-моему, жизнь гораздо проще.

Усмехнулась:

— Ты думаешь? — Губку верхнюю выкругляя, с грустью: — А кого ж ты любишь? Толстого?

Да что притворяться, терять так терять:

— Если честно говорить, после Пушкина и Лермонтова — никого. После них наша литература лишилась энергии, действия. Герои стали все — какие-то размазни или рассуждают кручено. Те же Пьер с Болконским — читай, читай: о чём они? их и не разделишь, не поймёшь. А я люблю — решительных людей.

Ну, это право она за ним признаёт, улыбается.

Прелестно сидеть разговаривать с этой умницей о том, о сём — но вдруг сметается разговор, и —

и! — сами руки подхватывают её — маленькую, лёгкую — она же для этого! нет, ещё легче того: она в точный нужный момент отталкивается от пола и сама взлетает в руки!

— О, какой ты большой! Какой ты большой, тебя не обвести руками...

И ноги сами несут, само петляется, кружится — выносит в другую комнату, к необойдимому месту.

Каждый раз всё туда — а не повторяется ничто ни разу — и это ворожительно. С Ольдой невозможно предвидеть, что произойдёт и как: всякий раз, всякий час — неожиданное, захватывающее и вместе льстящее твоей силе. В каждом жесте — новизна, и нет обрыва этой череде. То — ещё есть время и дают тебе, неучу, самому разобраться несладными руками в последовательности этих нежных завес. То — сама, всё сразу! и не благоразумно, но куда полетит с размаху, как отчаянный игрок последнюю карту! — и этот задор переполыхивает на тебя!

И — удвоенье, троенье и умноженье событий, и жалобы в задыхании. И восклицания удивлений, и крик, выносящий тебя в восторг: да так бывает ли? да это не придумано? да ты — не смертный, ты — Атлант!

Всё качается — стены, полки, картины, мир мысли и мир непримиримости — и нет противоречий! — да, вот такая! — да, вот такая! — да, вот такая! — и чем бесстыднее, тем ближе и нужней.

Глаза полуживые, смеженные до щёлок.

Длительный, собирающий покой.

Разговор — необязательный, ленивый.

— Ты понимаешь разницу между «любимый» и «желанный»?

— Нет, не задумывался. Разве не синонимы?

— О-о-о!..

Вот на эти душевые перекопки всегда есть досуг у женщины, даже учёной.

— В тот первый вечер у меня — ты не подумал, что я так и других встречаю?

— Ну что ты!

Тогда не подумал, до сих пор не подумал, а после вопроса мелькнуло: не то чтобы всех, но может быть — иных?..

— Это — само выступило. То есть я когда тебя слушала, ещё у Шингарёва, я ощутила, что...

Да, да, как это получилось само? С первой встречи.

— И я руку положила — как на русского рыцаря, только. Как символ. Это — ничего за собой не влекло.

— Как символ, я так и понял.

— Я вообще, наоборот, всех держу на расстоянии. Стараюсь, чтоб даже под руку меня не брали. Потому что от самого малого прикосновения могу потерять голову.

— Даже — от под руку?

— Даже... Моя кожа чувствует каждый пробежавший волосок. А ты разве не замечаешь?

Да что там, когда и собственная кожа его, все годы чёрствая,— вот обновилась, переменилась? Его всего она обновила, такой остроты он не знал.

Георгий закуривает в постели, просит папироску и она.

Так и курят рядом.

И уже серьёзней:

— Я ведь на людях совсем не часто откровенна, как в этот раз прорвало у Шингарёва. Но последнее время такое ощущение, что всё доходит до края. И вдруг мне показалось — я нашла в тебе союзника. Особенно когда ты замечательно сказал, что смирение полезней для общества, чем свобода. А ты — отшатнулся?

— Да я... — не мог точно определить Георгий.— Я не против монархии как таковой. Я — только *этого* царя... Он меня оскорбляет.

— Вот это и есть в тебе — подхваченная общая зараза! И давно?

— Скажу точно: от убийства Столыпина.

— Но что он мог?

— Перед тем — очень многое. А в этот момент — хотя бы подойти и наклониться к раненому. Навестить в больнице. Когда верную собаку убьют — и то уделяет ей хозяин больше внимания. Если мы простим Столыпина безо всяких выводов — никуда мы не годимся.

— Но у всякого человека, значит и у монарха, может произойти минутный сбой чувств, ошибка. Нельзя так решать по единичному...

— Да в чём хочешь! Хоть это пышное трёхсотлетие. Зачем так пыжиться: о, великая династия! Мало у них было промахов, переворотов, ничтожеств? то слишком слабых воль, то слишком жестоких?

— Не-ет, ты заражён, ты заражён! — почти с отчаянием покачивалась она.

— Почему бы не огласить сердечно: «Подданные мои! Это праздник — ваш, это вы перестояли страшную смуту 300 лет назад. И это вы проявили милость, оказав нашему роду доверие. Хотел бы и я по силам оправдывать завет.» Но — нет у него этого порыва всенародной откровенности, тем и не наш. А жалкая позорная поездка его в Червонную Русь? — близорукая поездка снять пенки с ликования — как раз перед тем, как начали нас из Перемышля и изо всей Галиции гнать?..

Именно нынешний наш император именно с нашей страной — не справляется, и уже четверть века, и это ужасно! Не жалеет он русской крови, думает — в запасе её океан.

— Но — законы войны, что ж он может?

— Войну-то — по-разному и можно вести. Если вообще в неё вступать, этого надо было избежать.

— Но ты же, надеюсь, не делишь с кадетами обвинений, что правительство ведёт войну в проигрыш?

— С чисто военной точки зрения — нет, мы её даже постепенно выигрываем. Только непонятно, что мы от этого возьмём. И слишком много за это заплатим. Для русского будущего, для целости народного тела и духа — полный бы нам расчёт дальше войны не вести.

— Но — как же её можно бросить? — изумилась Ольда.— Это лёгкое насекомое может вдруг свернуть полёт. А слон топает — ему не повернуться. И если бросить теперь войну — зачем были все прошлые жертвы?

— Скорей всего — зря.

Не ожидала от него! Вот не ожидала!

— Но это было бы преступление против всех павших!

— Думать надо о тех, кто ещё на ногах,— хладнокровно отвечал Георгий.— Что-то должно смениться, что заклинивает всю Россию на погибель. Что-то бы сменилось — и пошла бы Россия на поправку.

Ольда испуганно встрепенулась:

— Что ты имеешь в виду — *смениться*? Тронь Государя? — и можно потерять всю монархию. Можно потерять вообще всё! У народа только и есть — вера и царь.

— Да я не сказал — ему смениться.— Георгий сам не знал, как он думал. На кого-то из великих князей? Но — сто́ят ли они чего? Но кто из них сто́ит? Не худшая была бы ошибка? — Во всяком случае — да, в чём-то важном перемениться. — И, задирая ещё для проверки: — Ну, а в крайнем случае? Если было б условие: спасти Россию через то, что стать нам республикой?

Ольда поднялась на подушке, избочилась и строго, не по-любовницки, с замедленным отчётистым произношением:

— Как естественно кажется нам, что наверху над нами — Бог, один, и совсем ералашно было бы иметь небесных правителей сразу двести или триста, друг с другом не согласных и воюющих партия на партию, как олимпийцы,— так на земле и народу, особенно простому, естественно иметь над собой одну личную волю. Для мужика именно так: *хозяина* нет иначе. Монархия — это малое повторение мирового порядка: кто-то есть надо всеми равно признанный, милостивый или строгий к тебе равно, как и к твоему врагу.

Ну, равномилостивым быть трудно. Но не враг никому из подданных, да.

Однако день ото дня позорно упуская Гучкова и все задуманные поиски, Воротынцев тем охотнее прислушивался к Ольде, пожалуй даже и ища быть переубеждённым. Как поддразнивал её:

— Ну, согласись: убогая династия для такой расцветающей, обильной, великой страны? Вся династия — в беспамятстве.

— Не соглашусь! Всё человеческое умение, а в политике особенно,— это иметь дело с тем, что есть, а не придумывать, чем бы заменить.

Она натягивала простыню для тепла, трогательно одиноко пересекали её плечи поворозки сорочки,— но это где-то в краю внимания, вот уж не предполагал, где и с кем придётся выяснять. Снова курил.

— Есть такое русское слово — «зацарился». Не именно об этом царе, старое. Но, значит, в народном представлении есть такое допущение? Это значит: забыться, царствуя. Перестать ощущать себе пределы. И своему делу. И своему народу. А всякому расширению нужно знать меру. У народа — тоже есть пределы.

— Страну надо беречь! Она создавалась веками! — мрачно предупредила Ольда.

— Вот именно! Я это и говорю! Потому и говорю! Имея власть, да попав в бурю такой войны, надо же уметь эту власть проводить!

— Но он — поставлен на это место! Это — его долг!

— Так если бы! Если б он сам так относился — как к року, как к бремени тяжкому, просил бы других помочь! Если б он нёс корону, страдая, а не... с улыбкой какой-то неуместной...

Вспоминал эту виденную на параде улыбку.

— Ему и трудно! — так уверенно возразила Ольда, будто вчера виделась с Государем накоротке.— Ему и трудно! Он — страдает. А какой клеветой он обложен! Чего стоит одна ложь, а она прилипла, будто он сразу после Цусимы давал в Зимнем бал? А там вообще не было балов с Третьего года! Он улыбкой и пытается прикрыть своё страдание.— Её голос ещё потишел.— И даже — свою беспомощность. Ему, может быть, жутко. Он — пленник и мученик престола! — говорила так уверенно, будто хорошо и близко знала.

— Но если ему так тяжко! И если он так понимает свой жребий, как ты описываешь. То, чувствуя себя слабым для этой страны, не должен ли он... ? Перед страной — есть у него высший долг? Вплоть до того, что и... отказаться?

Ольда охвачена была как горем:

— У-у-у, тогда ты — вообще не монархист. Отец — не может отказаться от семьи, хоть и сознавал бы себя плохим. Он связан и саном своим, и властью своей, и подчинённостью других. Ты от своих передовых военных занятий заразился прогрессизмом. Русская монархия держит в мире больше, чем ты можешь предположить. Она подпирает по крайней мере всю Европу.

— Европу? Не вижу. А — что мы Европе? Я вот что вижу: в первую очередь надо спасать не монархию, а народ. Мы заклинились в самоуничтожение — и надо вырываться. А *он* — бездействует· Я не виню его одного. Тут, видимо, накопился какой-то грех династии — ещё от Петра, а то и от Алексея: они изменили своему избранию Земским Собором, они перестали чувствовать ответственность перед землёй. Так вот, пришёл момент — эту ответственность вернуть. Для спасенья народа.

Разорвалась бы она, узнав, до чего тут можно дойти. Если только уход Государя с Верховного может открыть путь разумным и талантливым силам армии, поменьше — изменить метод ведения войны, а побольше — вообще спасти из неё Россию? Увы, монарха нельзя отстранить от Верховного Главнокомандования никаким легальным путём... Георгий не мог ей выставить практически (он сам практически не знал) — но мог проверять на ней позицию, высказываясь даже непримиримей, чем думал,— и ждать, чем она его поправит.

Ольда по-бабьему сжимала руки в один кулачок:

— Что так думаешь т ы — это самое страшное. Что я должна это т е б е доказывать. Ты что же — замахиваешься на саму монархию?

— Да не-ет, не-ет...

— Пойми: отказ от монархии — это отказ от тысячи лет нашей истории. Если бы традиция была неудачна — не могла бы вырасти великая нация.

— Но если стала власть бесконечно тупа? не слушает доводов? неспособна?

— Это всё ты набрался от общества! Но оно — в истерике. В прошлом году говорили, что власть не может выиграть войну без них, теперь — что власть стремится проиграть. Интеллигенция наша — глупая, у неё совести много, да мало ума.

— Что ж ты советуешь делать?

— А — ничего не делать. Перетерпеть. Трон — только тронь. И —

покатится всё, и не оберёшься. За близкими целями нельзя забывать далёких,— покачала она. Покачалась.

Да что он уж так спорил? Даже и очень хорошо бы теперь, чтоб Ольда оказалась права. Тогда и его преступное лежание здесь вдруг оказывается самым верным действием?

— Так вот,— уже не настоятельно бурчал Георгий,— значит, нет таланта. Вот она и есть случайность рождения.

— А семь пядей во лбу ему не обязательно иметь, таких он может набрать себе советчиков.

— Значит, не тех набрал. А если выслушивает умных — почему это не заметно в действиях?

Похолодалыми ладонями Ольда стесняла, уговаривала его:

— Но может быть и случайности руководятся Провидением, может быть и в них что-то заложено таинственное? Слаб по рождению? — так усилим его нашей верностью!

— Что ты ни строй — монарх не имеет права быть размазнёй. Ты сама говорила: если к Государю нет таинственной любви, то его и самого нет. Так разве он дал нам сохранить к себе такую любовь? это святое представление о троне? Теперь, от тебя, я ясно и вижу, чем больна наша монархия: утеряна несомненность доверия, и Государь не спешит его вернуть. Так в этом он и виноват. Он много сделал для того, чтоб ореол утерялся. Вот ты и сказала. Так пусть возвращает! — волей, дальнозоркостью, мужеством.

— А ты?! — вскричала Ольда.

Уже был совсем скуден последний серый свет дня через окно незадёрнутое — но видно, как Ольда раздосадовалась, сбились волосы:

— Это ужасно! Офицер — с таким военным опытом! С такой твёрдой рукой! С таким общественным горением. И даже, наверно, ты оратор хороший. И в какое грозное время! А — потерял перспективу, потерял волю.

— Волю? К чему?

Ольда двумя кистями подняла его одну, потрясла, как взвесила:

— Вот этими мужскими руками, в наше крайнее время — Россию спасать!

— Так я этого и хочу! Я этого и хочу! А — как? — добивался он от неё, внутренне посмеиваясь. Не знала она, что, тут его уложив, хотя б нейтрализовала. Сама не зная, почти и добилась своего.

Его руку отпустила — вытянула перед собой свои две нагие, тонкие, не мускулистые, вряд ли два ведра способные поднять,— но и не к вёдрам вытянула, а — к рулю или к возжам, или к удилам, — вот, направляя уверенно бег колесницы сама, раз уж мужчин не осталось:

— Подкреплять монархию! — прокричала она ему на пролёте колесницы.— Давать ей поручни!

Как ни быстро, а Воротынцев успел метнуть:

— Столыпин и давал! Оценили!

— Да что ж это! — тряхнула она голыми предлокотьями, как рукавами в сказке.— У тебя от женской близости больше энтузиазма, чем от твоей ясной задачи!

— Укоряешь? — завыл-засмеялся он — и ткнулся головой, лицом, бородой в её лоно.

Так и замерли.

Не спорить, не шевелиться.

Да уж так Георгий упоён был Ольдой и так благодушно благодарен ей, в примирительных лапах держал её маленькие бочки́. Всё тёплое притягательное тельце лектора ощущая рядом с собою, притиснутым к своему, под одним одеялом — ещё бы не примиришься, с чем не согласился бы в зале?

За далёкими целями не забывать близких. Нашёл, с кем спорить.

Или подремать?..

Но — от малого прикосновения...

От самого малого...

Самая маленькая рука. Передвигается где-то по коже. Даже не по коже, но если бы пальцы умели дышать, так вот — их дыхание слышит твоя кожа.

Шажок. Шажок. Одно скольжение лёгкое, но чем легче, тем и сильней!

Обтрагивают — как узнавая. Ошерстённую, закалелую грудь.

И — коготочком.

Узнав — сильней. Сильней.

Что за дар! Тебя — уже изменили! В тебя что-то влили вот этим обтрагиванием воздушным! Ты никак не ждал, был покой уроненный, безоглядный,— но тебя уже переменили!

Один перебор пальцами — и тот же перепых, обжегший в первом свале! —

а дальше? Что будет дальше — всякий раз неизвестно. Всякий раз поразит неожиданностью! Как с неба опрокинется,—

как увидел бы конь свою амазонку, если бы на скаку, если бы скачка так ему позволяла, мог бы вывернуть голову и снизу вверх смотреть на душевлённую всадницу, как её швыряет на скаку —

не швыряет, но взяв удила уверенно, но с замыслом воинственным, но с привычкою опыта и власти, правит она непослушного бег коня — к видимой ей победе! —

не амазонку: не изуродована её симметричная, свободная, несвязанная, скачкою размётанная природа, а ноги, подобранные для скачки, пружинят в стременах,

а скачка с губами сжатыми, с глазами зажмуренными, как будто так лучше проглядывается, провиживается, простигается, простёгивается путь. Распущенные волосы относит ветром скачки, а всадница, потерявшая страх и разум, несётся навстречу предписанной гибели, навстречу гибели! гибели! вот ранена! вопль!! —

сникает — сникает — глаза закрыты, и свешиваются волосы по безветрию, занавесив лицо, и руки ослабшие, где там удила! — тщатся только удержать опору, только б не рухнуть ей.

А скачку доканчивать достаётся верному её коню. Донесёт, додержит ли конь её сам — уж там как конь...

29

Кажется, бастовала половина петроградских заводов, кто-то с опозданием сказал им потом. Кажется, вывешивали флаги на правительственных зданиях, да, верно, день восшествия на престол, сняли потом. И упоминалось в газетных сводках «южнее Кымполунга», а голова не брала. И ещё новый был пропечатан государев указ о призыве ратников 2-го разряда — о боже, куда они тянут? наоборот всему. И что-то же делалось эти сколько-то дней в Петрограде, да сколько же? потом не хватило шести дней, значит неделю и значит не всё были праздники, но и будни тоже? А у Георгия с Ольдой, как потом запомнилось, было только лежанье, лежанье, лежанье, да редкая прогулка, когда выдавалось два часа погожих. Собирались съездить в Мустамяки, где у Ольды маленькая дачка,— и тоже времени не хватило, ну другой раз когда-нибудь. Если жив буду... Да в Петербурге в конце октября какие там дни? — ночи одни, не успеет рассвести — уже и смеркается, их за полные дни и считать нельзя. И даже свет дневной — гаснущий, затменный.

И обронил, утерял Воротынцев, зачем он приехал в этот город, после первых непопадов покинул искать Гучкова, да уже и времени на то не оставалось, хотя трижды отсрочен был отъезд. Хорошо, что в первые два дня успел побывать в военном министерстве и в Главном Штабе, кому где обещал, потом бы не собрался. А уж к ревнителям

военных знаний так и не попал. И с Верой — милой внимательной Верой, ловящей мысли и желания брата наперёд, даже с ней после первого шингарёвского вечера почти и не побыл, почти и не поговорил, не расспросил и о ней самой: да отчего ж не замужем? да ведь уже двадцать пять лет! — да ведь такое спросить — как ударить, он и не мог. У них с Верой и вообще было какое-то неловкое закостенение в этом одном, не добирались они до распахнутой открытости, и так он и про Ольду ничего ей не объяснил теперь, да она и сама поняла, конечно, умница. Да уже и на самые малые братние долги не доставало, скоро и ночевать не возвращался под нянин кров, лишь присылал за письмами и телеграммами Алины.

Что раскалывало и губило блаженные эти дни — необходимость через день составлять ответные письма и телеграммы Алине, объяснять, почему ж он не возвращается, уехавши на четыре дня (и как понимать: с дорогой четыре дня или чистых?). Не причину придумывать было трудно, можно валить на служжбу, но кричала Алина при провожаньи — пиши каждый день! Но невыносимо складывать фразы, но каждое одно-однёшенькое слово за другим находить и в строчку ставить, особенно в обращениях и в окончаниях: как будто все слова стали подменены и каждое самому же резало фальшью ухо и глаз. И эту фальшь надо было замазывать.

Да не то что писать самому, но даже прочитывать приходящее от Алины вдруг составило для него чужой неискренний труд, в эти дни совсем ему и не нужный. Он изумился, как он вдруг ощутил Алину — посторонней себе. Год не видел её — и не чувствовал так, и охотно писал письма. А в эти несколько дней вот.

Ещё чего из ряду вон Алина потребовала — прямого телефонного разговора из Петрограда в Москву! — такие устраивались теперь. Но на счастье портилась на два дня телефонная линия между столицами, и так Георгий уклонился от телефонного разговора. Уж прямой голос, как в трубке ни сдавлен, выдал бы его. Прямой разговор был совсем нестерпим.

Да дни-то проскакивали, заглатывались непостижимо! А 27 октября ему неминуче быть в Москве на алинином дне рождения. Теперь Алина телеграфировала, что ждёт его по крайней мере за день до дня рождения. Посоветовался с Ольдой, как она думает: «за день» — это значит 25-го или 26-го? как принято понимать? Ольда считала, что — конечно накануне, так все понимают.

Но хотя Георгий и обманывал жену, а не было никакого ощущения обмана или подлости: просто — здесь было совсем другое, не относящееся к Алине. Ни с Алиною, ни с кем вообще он себя таким не знал, он чувствовал себя теперь совсем другим обновлённым человеком. Первый же вечер с Ольдой рассек его жизнь на две части, как рассекает тяжёлое ранение, только здесь не к падению, а к парению, такому чувству, как ни на чём не держишься, а взмываешь, и упадая — не разбиваешься. И тот он, который плавал сейчас с Ольдой, никогда прежде не бывал с Алиной — и значит это не была измена.

Ему сейчас — не хотелось вспоминать об Алине, но Ольда сама к тому несколько раз обращалась, и это было ему очень неприятно, ни к чему. Касалось ли того, другого,— она спрашивала: а как к этому Алина относится? или как в таком случае поступает? А один раз прямо спросила:

— Ты её сильно любишь?

Он уклонялся.

Такую освободительную лёгкость испытывал в себе Георгий, забыл ощущать, что она бывает. В сердце — такой перетоп благодарности к Ольде, что в объёме груди не оставалось места ни для сомнений, ни для вины.

Все эти пролетающие сутки была Ольда, с Ольдой и вокруг неё,—

нечто безобманное, законное, да, именно законное, вполне заслуженное после всей его позиционной вымерлости, после всех его неоценённых военных, служебных заслуг. Ладно, Верховное Главнокомандование не оценило его, — эта маленькая женщина стала ему сама собою лучшая живая награда от плодов России, лучше всех орденов.

Да не была ли она — та самая безымянная, никогда не встреченная, даже и не воображённая за пределами точного зрения,— но с такой же остротой ощущений однажды явившаяся ему во сне, под Уздау?

Как раз Ольда сама и заговорила однажды, созерцательно вдаль, фантазируя, как вспоминая:

— А ведь мы давно друг друга знаем. Ты это ощущаешь?

Не то, чтоб именно так. Именно такую — не мог бы он прежде составить и вообразить. Но вот, знаешь, однажды...

— Под 14 августа 14-го года — где ты была? с кем? о чём думала?

Рассказал.

Улыбалась. Водила рукой по его усам, бороде:

— Ты очень ярый.

— Вот уж не думал.

Сожмуривалась пытливо:

— Ты ещё сам себя — совсем не знаешь. Хоть и в сорок лет. Ты — неправильно с самой юности жил.

— А иначе б я не успел ничего, Ольженька!

— А что уж ты так успел?

Тоже правда: что он упел? Одни только замыслы, замахи да поражения. Да опала. Обычно полковники генерального штаба уклоняются быть на полках, это для них не карьера, генштабист — лишь четвёртый-пятый, они дорого обошлись в ученьи, чтоб их использовать так. Но вот прокомандовав два года полком, Воротынцев имел право быть генералом. А не был.

В том сне не разглядел он ни черты незнакомки, но увиденные теперь в Ольде въявь, казались ему уместны и привлекательны. И даже все эти игрушки — не для детей, а для себя. (И что о детях она почти не удостаивала говорить, не на тех высотах обитая.) И пренебрежительно о большинстве женщин. Зато о птенчиках и животных — с детской захваченностью. На Каменном острове протащила Георгия полсотни шагов назад — пересмотреть котёнка, он не так его увидел. И даже вера профессора в астрологию, гадания и приметы почему-то не выглядела противоречием. Ольда молча прижимала к груди уроненную дорогую ей вещь, прежде чем поставить на место,— тоже примета. Или как садилась с подобранными ногами, боком, чуть покачиваясь, глуховатым голосом, уже изошедшим страсть, но обещающим снова её, могла читать и читать наизусть какие-то модные стихи:

От тебя, утомлённый анатом,
Я познала сладчайшее зло,

а то пересказывать о каком-то теургическом искусстве. Чепухи тут был ворох, но Георгия восхищало всё сплошь: эта любимая поза Ольженьки, мелодичный голос, неутомимый в вещании, и то, что можно было, слушая, руками перебирать по ней самой.

Когда-то же они подымались, одевались, ели, а то вскакивала Ольда в халатике отдёрнуть-задёрнуть оконные занавески или бегом-бегом принести поесть в постель. Не надолго и расставались, но это эпизодами, а слаще и дольше всего, встречая перемены света и тьмы,— лежали, весь поток времени проглатывало счастливое лежанье. И какой разговор ни вспоминался потом — почти всё лёжа.

Нет, однажды, в конце дня тучи разорвались, засверкало голубое меж серого — и они пошли на большую прогулку. На набережной попался лодочник, перевёз их на Каменный остров.

Было холодно, плескало стужёным, но светило редкое солнце, расчистился запад — и так просторно, светло на душе. Как славно с Ольдой! Посмотрели вблизи и на те дачки — и петушиную, и с чёрными башенками, и швейцарское шале. Ещё не всё было сорвано ветрами и дождями, ещё додержались какие-то краснолистые и, конечно, дубы перепоздние, тёмно-коричневые. Речушка Крестовка, без течения, была покрыта густым листовым покровом, кажется — перейти можно по нему. Опять дачки, дачки — деревянные, разнооконные, со шпилями, резьбой, кокошниками, балкончиками. У Елагина моста стоял деревянный резной забитый, забытый Каменноостровский театр. По аллеям плотная земля, а чуть в сторону — грязно.

— И ты гуляешь тут иногда?

— Да бывает.

Но не спросил — с кем, когда, как-то не тянуло. С него довольно было того, что он видел и держал. Пожалел:

— А мы... а я в Петербурге шесть лет жил — и на островах-то почти не был. Всё некогда. Да как-то — место гуляний, а мы... а я человек негулящий.

Оговорился — и уклонился, не упоминать Алину, хотя и не тайна же была, что жили с ней, а не хотелось, не шло сюда. Но Ольда не пропустила момента и тут же мягко остро впустила коготки:

— А вы хорошо с ней жили?

Ну, как на это ответишь?

— Дружно? друг друга понимая? — допрашивала.

— Дружно,— должен был ответить. И покраснел.

— Ты — не из тех людей,— заключила Ольда,— кто много раздумывается над своей жизнью или пытается понять себя. А понимать себя самого — совершенно необходимо.

Георгий, не так-то стремясь к политическому разговору, но чтобы только перебить:

— Скажи, а Милюков — действительно крупный историк?

— Да какой там,— недовольно отвечала Ольда.— Его очень рано с научных занятий своротило на фронду, и покатился колобок по лёгкой звонкой дороге. Носится с учёностью, а подлинной не имеет. Сильных природных мыслей у него нет, и души нет, а упорства много. Он, поэтично говоря, та смоковница, которую...

И вдруг обеими руками обернула его — чтобы месяц молодой, да уже в первую четверть, он увидел бы через правое, а не левое плечо.

Георгий увидел на западе зеркальный серпик и:

— Насильно не считается.

Хотя все эти счастливые дни уже попали в новый месяц. А Гучкова — упустил.

Пошли по северной набережной — простой деревянный помост по краю леса, и близко, у самых ног — холодная чёрная вода Большой Невки.

И он опять её спрашивал о кадетах, а она рассказывала вяло, как общеизвестное:

— У них у всех нет чувства ответственности перед глубиной русской истории. Им даже в голову не приходит, что они совсем не понимают веры этого народа, ни его особого понимания *правды,* ни главных опасностей народному характеру. Смело выражаются «народ хочет», «народ требует». Но на Западе никакие радикалы с таким презрением не отзываются о собственной истории. Чувствовали б они нашу историю — перетерпели б эту войну и без ответственного министерства.

И — смотрела выразительно, уже в сумерках. Она догадывалась. Вот намекала: перетерпеть.

— А всякий *правый* мыслитель заранее опорочен, к нему студенты и не притрагиваются. И неоткуда им узнать другую точку зрения.

Обогнули Каменноостровским мостом уже при фонарях, возвра-

щались. Да не целых ли три часа они гуляли, всё на людях, не в комнате вдвоём? Уже хотелось в тепло, в уют, да граммофон послушать.

С месяцем уговорились, что — довольно. Георгий сидел в кресле и рассказывал боевую историю, когда действовал совсем неосторожно, а — выиграл. Вдруг из ольдиных глаз — зелёный вспых, пересела к нему на колени, приникающе, одно короткое слово шепнула на ухо — и весь запрет разнесло в осколки.

Убыстрённое, сумасшедше сжатое время!!

И опять — течение медленное...

Удивляться...

Покой победный.

Если бы даже не было других признаков — по одному тому, как Ольда, когда он брал её на руки, всегда отыгранным ловким движением в точный момент отталкивалась от пола, можно было догадаться, что она прыгала так не с первым с ним. Но это ощущение её опытности и многопонимания почему-то нисколько не было обидно для него, а даже нравилось,— как не может обижаться опоздавший к обеду гость, что без него тут уже пировали, но лестно ему, что для него спешат сервировать как для самого первого, не опоздавшего. О том или о тех, предыдущих, даже не было ревнивого толчка расспрашивать, никак он не относился к ним или они к нему. Ни разу не спросил, почему ж она не замужем, и есть ли кто сегодня. Заметила она как-то, что теперь по столицам стали очень часты разводы, во многих парах один из супругов — разведенец, что сейчас бы Анна Каренина не кидалась под поезд, а спокойно развелась бы через консисторию и вышла бы за Вронского,— Георгий выслушал, а невдомёк: что ж она — разведена? Он наслаждённо вверялся её опытности, а если кто-то помог этой опытности создаться, то и спасибо. Сегодня — они все нисколько не отнимали у него Ольды.

Она же не раз пыталась рассказывать ему о своём прошлом, и даже как бы о муже, но не венчанном,— Георгий не нашёл внимания вникнуть: её рассказ попадал в ряд тех неинтересных повторчивых личных историй, какие все всем всегда рассказывают.

А тем более он не задумывался, что ведь Ольда кроме говоримого вслух ещё что-нибудь думает своё отдельное притаённое, когда лежит со смеженными веками, бессильная и немая. Только блаженство и благодарность к этой женщине затопляли его. За своими вздыбленными чувствами, как за горами, никакого другого мира он не видел и не искал.

Зато Ольда добивалась узнать побольше о прежних любовных историях Георгия. Ну что ж, он подчинился, очень нехотя, взялся рассказывать — и вдруг оказалось почти нечего: немногие его рассказы и все вместе взятые — над этой огненной постелью прошли такими жалкими тенями, что самому стыдно, хоть и брось, а есть для губ другая работа, лучшая. Как это всё было разрозненно, случайно — и почему-то душевных впечатлений не осталось никаких.

По сути только Алина и была у него.

— Но т а к у вас с ней не было?

— Не-ет, никогда.

— Ну расскажи,— вела Ольда.

Да тут-то — что ж рассказывать? Это уж и совсем не складывается. Было — и было, есть — и есть. Десять тысяч мелочей, что ж тут рассказывать?

— Она умна?

Неглупа, конечно. Ну не так, чтоб специально.

— Любит тебя?

— Конечно, что за вопрос.

Ольда лежала на высоко-приподнятой подушке, с волосами разбросанными как попало, в коричневых развивах, глазами строгими смотрела в верх стены, не на Георгия:

— И предана? Твоему пути?

Георгий и рад ответить, но...

— Ну... это... вообще не для женщины... Не для неё.

Настойчиво, и как бы с недоверием спрашивала Ольда.

Да как это передать? Это не попадает в логическую сетку. В такой сетке пропадает главное: что Алина — привычная, родная, что с ней столько прожито, всё устоялось. Когда-то думал — и разделяет весь долг, весь темп, всю обречённость. Потом оказалось, что это — только терпенье её, а ждала она — награды беззаботности. Ну, какая есть. А ответственность — на мужских плечах.

(А как же вот: не мог даже писем её читать?.. А это ничуть не противоречило.)

— И — ты любишь её? — почему-то не верила Ольда. И всё — туда, на стенку.

— Ну конечно!

Очевидно, Ольда не могла взять в толк, что одно не касалось другого: вот они здесь — и жизнь с Алиной там. Вот он лежал, тоже на спине и чуть улыбаясь своему видимому: лежал, вот, любимый ими обеими, каждой по-своему,— и это нисколько одно другому не мешало. Такое довольство наполняло его, лень была все эти разговоры вести.

Ольда — немного шутливо:

— И ты когда-нибудь решился бы это испытать?..

— А зачем?

Улыбалась:

— Так, чтоб убедиться. В личных решениях нимало не помогают общие законы. Здесь всё так индивидуально-лабиринтно. На земле нет задачи трудней, чем задача личного чувства.

— Ну уж! — благодушно отпыхивался Воротынцев.— Ну уж! От историка ли слышу! Например задачи такого колосса, как Россия?!

— О, не говори! — на маленьком лице длинные брови теперь занимали строгую линию.— Те задачи крупны как горные пики, они видны издали, видны многим, и сотни и тысячи с равным правом судят о них, и можно что-то вывести. А в личном чувстве обречён на поверхностность всякий посторонний совет, и даже двое видят совсем по-разному.

Ну нет. Воротынцев-то твёрдо знал: до задач устроения государства редко дорастают люди, чтобы понять их,— а ведь ещё надо и остальных убеждать, того трудней! А устроение семьи решает вообще каждый на земле, проще нет, и никого больше не касается. Твёрдо это знал, но по сытому довольству не возражал: что б она ни сказала — уже потому хорошо, что она. Ладно.

А ей ещё мало. Повторяя свою любимую, в одежде или раздежде, позу — девичьи тонкие ноги поджав сбоку под себя, подтянясь на подушку и голые плечи прикрывая одеялом:

— А ещё, милый мой, в делах сердечных нужна твёрдость и решительность несравненно большая, чем в государственных.

— Что-о-о?..

Ну, сморозила!

И ещё смотрела насмешливо или как будто жалела:

— Ну, дай тебе Бог никогда не узнать, как это трудно. Ты — очень согласен сам с собой, ни один вопрос у тебя не в трещине.

Вздохнула:

— Твоё новое чувство ещё должно окрепнуть.

Но в том чудесная особенность постельных разговоров: за словами не обязательно идут слова. В голосе вдруг возникает глухота.

Сникает, сползает с подушки.

А — поздно уже, и хочется спать, и уши плохо дослышивают, что она там бормочет под одеялом.

— Что ты там?

Отзывается оттуда:

— А ты не слушай, я не с тобой.

Давно бы спать, ведь ни одной ночи не спали как следует. Но от замирающей полусонной игры — однако настойчивой этой игры — от заполуночной, невпорной игры — всё опять взметеливается! — и, не таясь ночной тишины, Ольда кричит прорезающим голосом, криком охотничьим и бесстрашным.

30

«Ты — обречённый!» — всегда говорила Нуся.— «Ты так и упадёшь в упряжке.»

И Пётр Акимыч знал, что — так. И — готов был.

Давно привык он к удивительному закону, что при великом множестве вообще людей в нашей стране — всегда и везде не хватает людей на дела. И поэтому самого его всю жизнь рвали во все и дальние стороны на ожиданное и неожиданное, и он привык все эти назначения с охотою принимать.

Кажется, неизглубны были русские недра и не хватало сведущих в горном деле, как и в других русских промышленностях,— а война увела горняка Ободовского от его основных занятий. Всю будущую хозяйственную мощь России выводя из недр её, Ободовский ощущал и видел эти невидимые недра, как большинство людей ощущают и видят весёлую переливчатую зелень земной поверхности. Но чтобы недра те когда-нибудь освоять, подступило прежде — отстоять от неприятеля поверхность над ними. Так война всё более обращала этого рудничного инженера — в организатора других инженерных линий.

Впрочем, страсть и талант устроителя едва ли не первенствовали в Ободовском и отроду. Да и усвоил он давно, что хорошее управление шахтами удваивает выбираемый уголь, хорошее управление железными дорогами как бы утраивает подвижной состав. И так повело его от Всероссийского союза инженеров образовать комитет военно-технической помощи при гучковском Центральном Военно-промышленном комитете, а по своему вечному неотклонимому жребию — оказаться и председателем его, значит погрузиться в чуждую ему военную технологию, ещё новые справочники и книги долистывая по вечерам.

А тыловая работа огромной войны ворошилась так хаотически необъятно, что не угадаешь, где тебе достанется тянуть. Так и сегодня, в пятницу 21 октября, в одной из малых комнатёнок Военно-промышленного комитета, в глубине здания по Невскому 59, Ободовский с тёмного утра сидел и вёл приём — артиллерийских инженеров, и даже не просто инженеров, но — изобретателей. Набиралось много их, охотников, ходить сюда и просить содействия тут — кому не посчастливилось в военном министерстве. И нельзя было пренебречь — тут мог встретиться бриллиант.

Редко в какой человеческой среде так трудно дать истинную оценку людям, как в изобретательской, так трудно отличить гения от безумца, безудачный талант от проходимца. Даже обладая полным знанием по области предлагаемого изобретения (чего никак не было у Ободовского в артиллерии), всё равно трудно не дрогнуть перед этой фанатической настойчивостью в тумане неведомого, перед этими глазами лихорадочными: тройное ли зрение зажгло их, далее того, что видно тебе, или просто безумие, или жажда славы и денег (впрочем, изобретателям русским ни того, ни другого не достаётся). Но помогает не только степень знания, а и собственный инженерный склад: отличаешь себе подобного от не подобного себе.

Ободовский вёл приём, но не было в нём ни придуманной осанки, ни самозначительности, и только по расположению от настольной лампы под белым матовым абажуром и чернильницы можно было различить, кто тут заседатель, а кто ходатай.

В Киснемском, от волнения со сбитым галстуком, подвернувшимся

воротничком, сомнений не было, его подлинность была проверена прошлыми изобретениями. Но вот — он потерпел неудачу с прогрессивным порохом и не желал сдаться, и заарканил, привёл с собою тихого податливого инженера с тамбовского Порохового завода, который уже уговорён был Киснемским продолжать эти опыты.

Возникшая проблема прогрессивного пороха была изворотом проблемы дальнобойности. До войны не предполагали стрелять дальше, чем вёрст на шесть: это уже превосходило глубину решительного боя, и наблюдать дальних разрывов тоже ещё не умели. Но позиционный период последнего года потребовал (и авиационное наблюдение разрешило, и немцы уже осуществляли такую) дальность стрельбы до 15 вёрст, — потребовал с той настойчивостью, как и всё другое рушила и перестраивала эта необычайная европейская война, с той настойчивостью, когда не успеть создать новых пушек, а надо увеличить дальнобойность существующих. Как же? Подрывать землю под хоботом лафета, тем увеличивая угол возвышения? Так набавлялось всего 30% дальности, зато падала скорострельность и удолжалось время подготовки орудия к стрельбе. Стало быть, увеличить начальную скорость снаряда. Но чем? Увеличением сгорающих зарядов? Возросло бы давление, как не позволяла прочность орудийного ствола, и энергия отката, как не позволяли лафеты. И тогда-то стали искать прогрессивные порохà. Обычный порох сгорает вмиг, единым толчком посылая снаряд, а пока тот продвигается по каналу ствола, позади снаряда давление падает. Порох же прогрессивный должен гореть так, чтобы в каждую следующую тысячную долю секунды количество газа возрастало бы прогрессивно — и тогда не уменьшается давление на дно снаряда и не увеличивается на стенки ствола. И вот из формул геометрии и формул горения надо было нигде не подсказанным методом выбрать и соединить: какова же должна стать форма пороховых зёрен?

И Киснемский предложил тогда призматические бруски с каналами квадратного сечения, жарко настаивал, что к моменту вылета образуется десятикратное количество газа. А нет, не вышло! Теперь уже достаточно было проведено опытов на полигоне, и не было сомнения: не так. Зёрна распадались раньше времени и догорали дегрессивно. Киснемский же не хотел признать поражения, уступить другим соревнователям. И вот искал поддержки Военно-промышленного комитета перед военным министерством: его опыты, прерванные в Петрограде, разрешить перенести на тамбовский Пороховой.

А Ободовскому надо было соотнести степень надежды и риск неправильного использования завода. И как это сформулировать перед министерством.

А настольная лампа всё меньше была нужна, и поздний петербургский осенний рассвет уже проявлял за окном голокаменный скучный двор и просачивался в комнату анемичною серостью.

За этими двумя вошёл инженер из Комиссии по изготовлению удушающих средств, тоже просить содействия. Полтора года назад невозможно было даже выговорить такое, дичей того вообразить себя участником: из любви к родине изготовлять удушающие средства! На настояния химиков великий князь тогда не давал согласия: это — не для России. Но после газовых немецких атак на Ипре было уступлено: если противник неразборчив в средствах, то готовить и нам. И вот больше года существовала такая Комиссия, и двести заводов тем занимались, крупные учёные работали там — и запросто вот так, в кабинетах и в лабораториях, беседовали о сильнейших видах отравляющих веществ. И вот — Ободовский теперь с ними, на логическом пути так и не заметив сотрясательного ухаба.

Шло к полудню и уже полностью забрал комнату вялый свет безвидного моросящего дня. В двенадцать ждал Ободовский Дмитриева, как тот телефонировал ему вчера домой, прося принять срочно. Тем

временем проник между артиллеристов и добился своего наряда и инженер-путеец с Амура, с нуждами только что открытого железобетонного двухвёрстного моста, самого длинного в России. А тут прошмыгнули и заняли два свободных стула — Подольский и Ямпольский, два егозливых изобретателя, которых уже не пускали на порог Арткома и отвергло Главное Артиллерийское управление. Отказался было Ободовский их принять, но им приёма и не надо, а всего три минуты, они и не просят ничего им разрешать, а только чтобы Пётр Акимович попросил Александра Ивановича, а уж тот не сможет остаться в стороне от грандиозного проекта, обещающего России стремительную и полную победу.

Эта пара отлично знала, что сейчас решается вопрос дальнобойности и, покинув свои прежние отвергнутые проекты, они предлагали теперь бросать снаряды вообще не порохом, а электромагнитными силами: построить магнитно-фугальное орудие длиною в 70 аршин — и осуществится выстрел на 300 вёрст! Немного продвинуться нашим войскам — и можно обстреливать Берлин! И какие преимущества: выстрел без звука, без дыма, без блеска! И не нужно толстой трубы, простота отливки! и — практически вечное орудие, никакого износа!

Всё-таки втянули Ободовского в обсуждение. Но хотя и геолог, он всё же достаточно тут видел. И прокатывал требовательными бровями:

— Но позвольте, господа, а не понадобится вам ток в миллион ампер? А чем вы будете его накоплять? А какая у вас мощность электростанции?

Хотя почти наглядно это был фанатический или недобросовестный вздор, но они так переваливались через стол по обе стороны, — каково было горняку взять на себя отвержение величайшего, может быть, оружия XX века?

— А не могли бы вы, господа, перестроить ваш проект всего на 15 вёрст, но чтоб и ствол был в 20 раз короче?

Подольский и Ямпольский переглянулись. Они могли и так, но чтоб сегодняшний проект тоже доложить Гучкову.

Тут вошёл Дмитриев в обрызганной дождём куртке, стоял и прислушивался. Его сдержанно насмешливый крупноносый вид окончательно утвердил Ободовского, что не загубит он величайшего изобретения, покинув его своей поддержкой.

Но ещё долго он от них отговаривался и выручал один стул для Дмитриева.

Ещё ждали сегодня объяснения по проекту придания пушке свойства гаубичности, по новой идее универсального взрывателя с переменным замедлением,— а вот пришёл Дмитриев по поводу траншейной пушки. Уже не техническая идея — готовы были опытные образцы и испробованы в бою — но переход к серии требовал многой поддержки, о чём и собирались они в минувший понедельник говорить у Шингарёва, да не пришлось. Уже не об идее — о простой станочной заводской работе,— но крупно-покойное лицо Дмитриева было устало-печальным. Опустился на стул искоса, ноги вбок.

— Акимыч. Обуховцы отказались от сверхурочных. На воскресенье мне некоторые обещали выйти — теперь не выйдут.

Вот и всё немудрое. После того возбуждённого и технологического, что было наговорено тут сегодня,— вот и всё простое короткое. Замышляйте, чертите, фантазируйте — всё это пыль блестящая, пока не сгустится в металл через цех, станок и рабочие руки.

Дмитриев — отдыхал на стуле? Он и правда, кажется, не много присаживался с тех пор, как в конце лета воротился с испытаний своей траншейной пушки на Северном фронте. И правда, не лишнее было ему посидеть.

И это мрачное его спокойствие передалось и Ободовскому. Его

многоизломанные нервные губы с лёгкой наштриховкой усов сложились печально:

— А что случилось?

— Ничего не случилось. Просто докатились до них агитаторы: почему во вторник и среду пол-Петрограда бастовало, а обуховцы нет? Как смели не поддержать?

Несчастливая траншейная пушка! Ещё в японскую войну поняли, что такая нужна. В 910-м утверждали путиловский образец скорострельной штурмовой. Утверждали, утвердили, а выпускать не начали. Так от японской до германской войны 10 лет продумали — и начали войну без траншейной артиллерии. А как оборвался маневренный период и сели в окопы, так понеслись вопли: нужна! скорей! и полегче! Таскали горную трёхдюймовую четвёркой лошадей — не то. С прошлого года проволачивается по инстанциям проект полуторадюймовой траншейной — но у скольких же петербургских генералов и сановников надо ему согласоваться, — а на них снаряды не падают, пулемёты им не досаждают. Год пошёл на проект и опытные образцы, теперь серию запускать — так рабочие...

— А без сверхурочных?

— Вечер и ночь станки стоят, литейка не льёт. Да я даже слышал хуже: со дня на день *всеобщую* готовят.

— Всеобщую? — взлетели брови Ободовского, ненадолго угомонялись они.— Это почему?

— Нипочему. Готовят и всё.

— Годовщина какая-нибудь?

У социал-демократов страсть годовщин и табельных дней не жиже, чем у царской фамилии. Есть в году дежурные революционные даты, в которые непременно надо бастовать: 9 января; и ленский расстрел 4 апреля; и конечно 1 мая; а там и 4 ноября — день ареста их думской фракции; а там в феврале — день суда над ними; а там... Трепали календарь, не щадя русского производства. И все всплывавшие вдруг даты были обязательны к стачке, и только изменники рабочего класса могли уклоняться от них.

— Или в Туркестане чёрная оспа?

Занялась в Баку чума, умерло десятеро среди рабочих — весь Петроград немедленно должен был бастовать, бред какой-то.

Не шевелился Дмитриев, не помогал угадать.

— На Металлическом недавно: уволили какого-то худосочного агитатора — так весь завод два дня бастовал. Им объяснили, растолковали: четыре миноносца стоят в ремонте, вы останавливаете! За каждый день забастовки вы не выпускаете по 15 тысяч снарядов. За каждый такой невыстрел может быть ляжет два наших пехотинца. Тридцать тысяч братьев-солдат? Наплевать, отдайте нашего агитатора!

Ободовский барабанил нервными пальцами.

— В Англии, во Франции сейчас, во время войны, представить такую забастовку? Немыслимо. Если возникли ясные требования, так их рассмотрят, согласуют. Видимо, свобода осмысляется только с определённого уровня сознания. А ниже этого критического уровня — бессмысленные тёмные силы, медведь катает чурбан...

В свободной Англии военизировали промышленность, и это никого не оскорбляет. А у нас — «предательство рабочих интересов», «тираническое подавление личности»... Мобилизовать армию можно, а военную промышленность нельзя? Солдат подчиняется команде даже на смерть и не кричит, что это насилие. А рабочий военного завода должен иметь право увольняться, прогуливать, бастовать? Как же одной рукой воевать? По петербургским заводам судить, так мы войны ещё и не начинали. А петербургские заводы выпускают половину всех боеприпасов.

Да что ж друг другу доказывать ясное?

Судьба штатского, всю жизнь ненавидевшего армейщину.

Туча государственных чиновников, вставая утром и потом весь день по своим кормушкам, не бьётся такими заботами. А кадеты и эсдеки требуют — свободы от феодализма! А гучковские комитеты? Тоже не рвутся к военизации.

Гучковские комитеты возникли новым свежим сочетанием колёс рядом с медленно-ржавой системой бюрократического механизма и, казалось, посвежу могли повернуть и подать там, где отказывал прежний. В гучковских комитетах Ободовский сразу угадал, ожидал те самоотверженные общественные силы, которые отовсюду стягиваются, хоть поодиночке, на прорванное место, чтобы затянуть его, спасти. И ошибся. Теперь, за полтора года, на его глазах система военно-промышленных комитетов обратилась в такую же неуклюжую, самодовлеющую систему, обременённую избыточными штатами, — да если бы хоть самоотверженными. Каждый служащий в этих комитетах рвал получить себе повыше оклад, каждый подрядчик — повыше комиссионные, каждый завод — наивысшую оплату продукции, так что вся помощь гучковских комитетов стране становилась роскошно дорогой: их трёхдюймовая пушка стоила 12 тысяч, когда казённая — 7, за пулемёт «максим», по казённому 1370 рублей, Терещенко желал получить 2700, да ещё чтоб ему предоставили казённые стволы. И — вся продукция комитетов была так, в полтора-два раза дороже казённой, и гучковские деятели нисколько этого не стыдились, но считали себя благодетелями и спасителями страны: за быстроту (да и не такую уж быстроту) подачи. И даже Родзянке, поставлявшему берёзовые ложа для винтовок, военное министерство накидывало за штуку по лишнему рублю — «чтоб его задобрить» — и Родзянко не отказывался, брал!

Там, где Ободовский ждал встретить сплетение самоотверженных мининских жертв, он горько обнаружил сплетение корыстей и задних расчётов. Так не только людей дела у нас не хватало в России, у нас не хватало и просто самоотверженных? Их не было в государственном аппарате, но не было их и в общественности, где ж они были тогда? Кто же тянул для родины, не думая о себе? По горькой усмешке это доставалось бывшему революционеру и изгнаннику. И не густо видел он вокруг себя таких же.

А ещё важней гучковские комитеты были заняты не поставкой вооружения, но укреплением своих общественных позиций и атакой на власть. Ещё этот задний расчёт не скрылся от Ободовского, даже и в самом Гучкове. То и дело без надобности собирались совещания и съезды представителей военно-промышленных комитетов, и на каждом главный вопрос был не деловой, а политический: власть не соответствует задачам страны, правительство вдохновляется тёмными силами, ведёт страну к гибели, кабинет должен составиться из лиц, которым доверяет страна.

Ободовского ли убеждать, что Россия нуждалась в широкой свободе и в притоке общественных сил к управлению! Но и его коробило, что позиции занимаются и политическая борьба ведётся во время войны. Нечестно! И опасно для России.

Да, власть совсем оказалась не готова к темпам и сжатию этой войны. Но — и ни одна европейская страна не была полностью готова, только они жили динамичней, их власти — не в самодовольной дрёме. У нас же не хватает быстроты поворота. Быстроты поворота? — так каждый должен приложить свою. И даже чем больше корысти встречается в видимых помощниках — тем отчаянней должны тянуть истинные.

Дмитриев вздохнул сильной грудью, повернул к Ободовскому косо-крупную голову:

— У меня там сейчас при траншейной пушке старший слесарь такой, Малоземов, говорит мне тишком: «Михал Дмитрич, добивайтесь, чтоб не было забастовки. Мы тут, все мастера доконные, не хотим её. Мы — исстараемся, всё сделаем, только избавьте нас от хулиганов. А

сами противиться не смеем.» Та́к вот негодники и чернорабочие приказывают лучшим мастеровым.

Так они ведь, русские забастовки, так все и делаются, от первой же обуховской, знаменитой. Идут себе рабочие на завод, ничего не предполагают. А на перекрестках стоят молодцы с надвинутыми козырьками, иногда и чужие, приблудни какие-то, и задерживают каждого: подожди, товарищ, будет забастовка. А не задержится — палкой его или камнем в голову. А из цеха — выходи! А кто не выходит — болтами и гайками. Теперь приучили и без гаек, просто пробку в дверях: внимание, товарищи, будем бастовать.

— А прошлой зимой в Николаеве, помнишь Вороневого, мастерового? — был против забастовки и ухлопали его из револьвера. И убийцу даже не искали: не великого князя убили, мелочь. А вот так проигрываются целые заводы. И города.

Барабанил, барабанил пальцами.

— Нет, этого нельзя допускать! Мы просто становимся трусами. Если мы против насилия, навсегда раз и всякого, и самодержавию всю жизнь не уступали, — так почему же *другому*? Зачем же всё, если менять одно насилие на другое? Бояться самодержавия — уже для всех позорно, а бояться хулиганских камней — нет? Рабочий класс? — и ему пойду скажу...

Да если успокоил Лысьву разбушёванную, где рабочие убили директора... От сопротивления только упорней становился Ободовский, вот уж, в том и жизнь прошла. С лёгкостью из стула выброситься, накинуть пальто, а шарф хоть и свеся, шапку как-нибудь — и в трамвай, на завод!

И остановился — мыслью:

— А на Западе — разве не то же? Только без камней и лиц не прячут, а — *пикеты*. Сейчас милитаризация, ладно, а раньше устраивали такие пикеты забастовщиков: мы, мол, забастовали, так и вы тут, рядом, смежные, тоже не дышите. Это разве — не насилие? Ты — бастуй, пожалуйста, право твоей личности, а право моей — не бастовать, и ты меня не трогай. Не-ет, тут не образованием пахнет, что это мы всё на Россию?

Тревожные брови его прокатались, прокатались. И тогда, пристыв:

— Как бы в самой идее *свободы* не было порока. Чего-то мы в ней не додумали.

И — когда это отделились инженеры от рабочих? Ещё в Пятом году поддерживали их петициями, солидарно увольнялись. В одну шахту одной клетью спускаемся. А зазмеилась трещина и отвела инженеров от работников к хозяевам. И уже трудно переступить, доверия нет, мы — баре. И тот инженер, который идёт уговорить рабочих по-человечески, — ему опять прыжок покаянный к младшему брату, на чём сломано столько дворянских шей за прошлый век.

А без доверия — как же работать на одном заводе?

А рабочим, правда, чем отвечали, кроме полиции и казаков? Много ли с ними говорили как с соотечественниками?

Переминался и Дмитриев перед той же покаянной чертой русских образованных людей. Но не стереть же образования с лица. Надо — д е л а т ь. Вот, траншейную пушку. Чтобы к весенней кампании она уже была в батальонах — нельзя пропускать теперь ни дня. Но то была задача не для платных наёмников, а сочувственных сотрудников.

— Да-а-а, — всё не двигался Дмитриев, так и сидел искоса, одним локтем уцепясь за спинку. — Если бы в батальонах солдатам сказать, что пушка уже есть, но к ним не придёт из-за какой-то забастовки... Да в какой это голове уложится?

Спасать! бороться! действовать! перепрокидывать препятствия! — это было самое понятное и привычное для Ободовского, и он готов был бросить всё сейчас и ехать на завод. Но всё же с годами остепенясь, лучше знал он свой несчастный порок: всегда бросаться самому, в не-

терпеньи не верить, что и другие успеют и сделают не хуже, что в России люди — всё же есть, есть.

Из этой комнатки голой, без единого станка и напильника, где только чертежи разворачивались да ведомости, и откуда на Невскую сторону, в литейку и слесарку Обуховского завода не восемь вёрст, а через гору перевалить, — как было помочь траншейной пушке?

Однако друг друга видя, набирались они и помощи. В углублённом взгляде Дмитриева уже сказывалось решение его, с ним и пришёл:

— Я поеду, да. И буду говорить. Соберу два цеха, от кого всё зависит, и просто расскажу им, как есть. Что такое траншейная пушка и почему нельзя с ней медлить. Я с администрацией уговорился уже, что в конце смены сегодня соберу. Но вот что, Акимыч, это бы надо — в согласии с Рабочей группой. Чтобы они помогли. Я потому и пришёл.

— Рабочая группа? — додумывал Ободовский. — Это ты прав. Но и у них мозги закручены — ты не представляешь. Они этими партийными лозунгами заклёпаны так, что не прошевельнутся. Там — меньшевики царствуют, я с ними разговаривать не могу, ругаюсь. А ведь правильно задумано — представительство рабочих в центре. Но наверно Кузьма сейчас там, пойдём попробуем.

Подбросился из стула.

Надо было перебежать по Невскому наискось — и ещё по Литейному.

(Продолжение следует)

ЛЕТОПИСЬ РОССИИ: ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

– новая рубрика "Нашего современника"

Наше столетие, взорванное величайшим катаклизмом в истории человечества, призывает пристально вглядеться в прошлое. Мы хуже знаем историю Родины, нежели историю КПСС. Сегодня к нам возвращаются труды Карамзина, Соловьева, Ключевского, других историков минувшего. Но не было до сих пор попытки цельного осмысления русской истории от древнейших времен до конца XX века, осмысления духовно-религиозного, государственного, национального, культурного и социального. Наш журнал впервые предпринимает попытку восполнить этот пробел, восстановить естественное древо народной жизни.

История народа есть история деяний его сынов. В 1991 году журнал "Наш современник" открывает новую рубрику, в которой история России будет выражена в портретах царей и патриархов, святых и героев, подвижников и самозванцев, мыслителей и художников. О святом князе Владимире, митрополите Иларионе, Александре Невском, Дмитрии Донском, Сергии Радонежском, Андрее Рублеве, Иване III и Иване Грозном, Ермаке, святителе Макарии, Лжедимитрии, о Минине и Пожарском, о государях династии Романовых, патриархе Тихоне, Столыпине, Колчаке, Деникине, Ленине, Троцком, Сталине и многих-многих других героях и антигероях давнего и близкого прошлого нашей Родины расскажут выдающиеся историки и священнослужители, писатели и публицисты. Мы приглашаем к участию в этой работе таких авторов, как Д. Балашов, Л. Гумилев, А. Панченко, Л. Лебедев, А. Трубачев, Д. Дудко, В. Кожинов, Р. Скрынников, В. Карпец, П. Паламарчук, А. Ланщиков, Ф. Нестеров, А. Преображенский, В. Сергеев, Г. Прохоров, Ю. Лощиц, М. Лобанов, И. Шафаревич, и многих других.

80 коп.

ИНДЕКС 732[illegible]

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЧИТАЙТЕ:

Валентин ПИКУЛЬ.
"Исторические миниатюры".

Продолжение романа Александра СОЛЖЕНИЦЫНА
"Октябрь Шестнадцатого".

Виктор АСТАФЬЕВ.
Неопубликованная глава из "Царь-рыбы"
"Не хватает сердца".

Статью Игоря ШАФАРЕВИЧА
"Шестая монархия".

Андрей БЕЛЫЙ.
"Штемпелеванная культура".

Иван ШМЕЛЕВ.
"Инородное тело". Сказка.

В рубрике ***"Русская мысль":***

Арсений ГУЛЫГА.
"Русский религиозно-философский ренессанс".

Константин ЛЕОНТЬЕВ.
"Национальная политика как орудие всемирной революции" и "О всемирной любви".

В рубрике ***"История Отечества: документы и судьбы":***

Анатолий ЛАНЩИКОВ.
"Диктатура диктатуры".

Дмитрий ЖУКОВ.
"**Б. Савинков и В. Ропшин.** Террорист и писатель".